

Б И Б Л И О Т Е К А

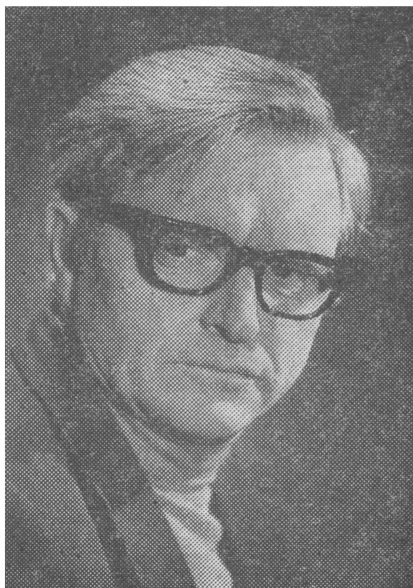
ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 20

1984



*Михаил ШЕВЧЕНКО*

**ДОРОГА  
ЧЕРЕЗ РУИНЫ**

М О С К В А  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»



**БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 20**

---

**Михаил ШЕВЧЕНКО**

**ДОРОГА  
ЧЕРЕЗ РУИНЫ**

**ПОВЕСТЬ**

**Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1984**

## Михаил ШЕВЧЕНКО

Михаил Петрович Шевченко родился в 1929 году в селе Сагуны Воронежской области, в крестьянской семье. Когда началась Великая Отечественная война, ему было двенадцать лет. Вместе с ровесниками помогал он колхозам убирать урожай, работал в частях Советской Армии, проходивших через город Россошь, куда родители Шевченко переехали в канун войны. В этом городе будущий писатель пережил один из самых тяжелых периодов военного лихолетья — лето, осень и зиму 1942-го.

После войны окончил Россошанское педучилище, затем — Литературный институт имени А. М. Горького.

Родные люди суровой военной поры стали героями стихотворений, рассказов и повестей Михаила Шевченко, опубликованных в книгах «Любовь» (1961), «Спасибо тебе за цветы» (1964), «Моя фамилия» (1975), «Попугачицы» (1976), «Стихотворения» (1979), «Метельная ночь» (1979), «Воронежский вечер» (1981), «Осенние радости» (1981), «Только бы одну весну» (1983) и др.

Популярны среди читателей повесть «Кто ты на земле» (1968—1977), посвященная воспитанию маленького гражданина в семье, а также созданные в разные годы литературные портреты А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, К. Г. Паустовского, М. А. Светлова, Н. И. Рыленкова, Я. В. Смелякова, И. Л. Сельвинского.

Стихи и проза Михаила Шевченко переведены на ряд языков народов СССР и иностранных языков.

Повесть «Только бы одну весну» удостоена Почетного диплома и медали Всесоюзного литературного конкурса имени Н. Островского. За литературный труд Михаил Шевченко награжден орденом «Знак Почета». Заслуженный работник культуры РСФСР. В 1983 году за произведения последних лет и многолетнюю плодотворную работу с молодыми писателями Михаилу Шевченко присуждена премия Ленинского комсомола.

Все произошло в ночь под Новый год, и все было похоже на новогоднюю сказку или новогодний сон.

Проснувшись среди дня первого января, Михаил Сергеевич Кобзарь думал о случившемся с недоверием к своей памяти. Может быть, всего этого и не было?

Впрочем, разве редко мы так думаем обо всей своей жизни?..

Далеко за полночь в одном из подмосковных домов отдыха после сдержанных проводов старого года и несдержанной шумной встречи Нового — с водкой и шампанским, с многочисленными тостами за счастье, которого всем вечно не хватает, с объятиями и поцелуями, когда новогоднее веселье пошло на спад, — Михаила Сергеевича пригласил к себе сосед по коридору, журналист молодежной газеты.

Михаил Сергеевич помнил полутьму комнаты, горящие свечи и прекрасно сервированный его женой-хлопотуньей стол. Водка, настоящая на мандариновых и лимонных корочках и полыни, помидоры, бутерброды с кетовой икрой, селедкой и сыром, порезанные на крошечные ломтики; в каждом ломтике торчала миниатюрная пластмассовая вилочка — бери и ешь, а перед этим опрокинь холодную литую серебряную стопку-наперсток.

Два года назад Михаил Сергеевич развелся с женой и теперь ощутил в праздничной комнате тот создаваемый умными женскими руками уют, по которому он — это вдруг открыло его хмельное сознание — соскучился, и ему тут же захотелось благодарить хозяев за приглашение, за то, что он почувствовал в этой полуосвещенной новогодней комнате.

Но, будучи недостаточно хмельным для того, чтобы заговорить об этом, он молча сидел в темном углу между столом у окна и шкафом, слушал веселый гомон собравшихся гостей, большинство которых он видел впервые; они рассаживались кто где мог — на диване, на кроватях, на стульях. Выпитое все же давало себя знать, и Михаил Сергеевич время от времени в своих мыслях уходил куда-то далеко от этой компании; возвращаясь, снова слушал людей, видимо, уже знавших друг друга.

— Ой, как мы вовремя уединились!.. — облегченно вздохнула сидевшая напротив сервированного стола женщина с обнаженными

плечами; морщины на шее скрывал желтый шарфик. — Признаться, я уже не знала, куда деться от гама и бестолковщины столовой!

— Еще бы! Целый вечер суета! — откликнулся ее муж, чернобородый, похожий на цыгана, одетый в красную рубашку; все говорили, что для того, чтобы наступающий год был счастливым, надо его встречать в красном.

Леля, девочка-хозяйка, в темной плиссированной юбке, делала последние необходимые поправки на столе, как художник на картине.

— Все ли в сборе? — Она оглядела собравшихся. — Нет главного закоперщика — Витеньки... Но он сейчас появится...

И тут-то распахнулась дверь комнаты, и на пороге, раскинув руки, Виктор Борисович кого-то — не видно было еще кого — приглашал в комнату.

— Друзья, для всех нас — новогодний сюрприз! — Радостный голос Виктора Борисовича стряхнул с Михаила Сергеевича дремоту. Он поднял голову, раскрыл глаза и вместе со всеми повернулся к двери.

Мимо Виктора Борисовича, изящно приподняв маленькой рукой подол длинного вечернего платья, в комнату вошла высокая женщина. И первое, что все увидели, — ее улыбку. Смеялись плотные белые зубы, смеялись глаза; в полусвете казалось — и волосы ее смеялись. Строгое вечернее платье подчеркивало ее улыбку. Следом вошел муж — спортивного вида, плечистый, белобрысый, нос клювом. Мягкие серые глаза мужа тоже улыбались, словно лишь от того, что он увидел, как все заулыбались его жене.

«Его улыбка отражает ее улыбку», — смутно подумал Михаил Сергеевич.

— Друзья, — торжественно сказал Виктор Борисович, — представляю вам наших гостей — Надежда Антоновна... А может, лучше просто Надя?

— Да, конечно, — согласилась женщина.

— Так вот — Надя и Андрюша Скорынины.

Гости поклонились. Андрей, расстегнув пиджак, присел на тумбочку возле двери. Наде уступили место в самом центре комнаты, перед столом, напротив женщины с шарфом на шее.

— Что пьем, Надюша? — не затихал Виктор Борисович. — Вино? Водку?

— Я — водку, — решительно ответила Надежда.

— Леля, — повернулся к жене Виктор Борисович, — стопочку!

Леля в ту же минуту поставила перед Надеждой серебряный наперсток. Виктор Борисович наполнил его.

— Друзья, мы с вами уже поздравили друг друга с праздником. Давайте поднимем эти бокалы за новогодние радости наших друзей! — предложил тост Виктор Борисович, слегка поклонившись и Надежде и ее мужу.

Надежда встала и высоко подняла стопку.

— Мы не будем в долгу,— сказала она, обращаясь глазами к мужу.— Мы пьем за всех вас! За ваше благополучие в новом году!

К Надежде потянулись руки со стопками. Михаил Сергеевич тоже привстал и поднес к ее рюмке свою. Надежда, не обернувшись, чокнулась с ним и выпила, запрокинув голову и оставив мизинец.

«Зачем я сюда пришел? — подумал Михаил Сергеевич и тоже выпил.— Сын... Где он? Спит? Или мотается по дому с ребятами?.. Надо бы уйти...»

Однако уходить ему не хотелось. Если сын спит, Михаил Сергеевич снова будет один.

— Друзья! — раздался торжественный голос Виктора Борисовича.— Самое приятное, что я могу вам сейчас сообщить в этот вечер, вернее в эту ночь,— он сделал паузу,— Наденька будет петь.

Он захлопал в ладоши. Захлопали все.

— Да,— просто сказала Надежда.— Я готова спеть. Но подо что?

Виктор Борисович обхватил руками свою лысеющую голову.

— Черт меня не возьми! — вскрикнул он.— Совсем забыл!.. О-о-о! — застонал он и выбежал из комнаты.

Все расхохотались.

Надежда уселась на стуле спиной к Михаилу Сергеевичу. Он откинулся к шкафу и увидел перед собой полнеющие плечи, натянутое на них платье, поблескивающие кольца волос на шее.

— Можно у кого-нибудь сигарету? — Надежда подняла свою небольшую ладонь.

Ей тут же протянули несколько сигарет.

— У вас «Золотое руно»? — спросила она бородатого цыгана.— Я возьму, хорошо?

До прихода Скорыниных в комнате никто не курил. Но никто не возразил, когда закурила Надежда. Она жадно затягивалась, закидывала голову и выпускала дым к потолку.

Все молчали. Вскоре вернулся Виктор Борисович. В руках у него была гитара.

— Вот вам! — протянул он ее Надежде.

— Спасибо. Но я не играю,— ответила она.

— Кто может? — Виктор Борисович обвел всех взглядом.

Все, переглядываясь, пожимали плечами.

— Конечно, я могу и без сопровождения,— сказала Надежда, относя сигарету от себя.— Но все-таки хотя бы легкий аккомпанемент.

Виктор Борисович растерянно стоял с гитарой.

— Можно пойти в кинозал,— грустно сказал он.— К фортепьяно... Но там сейчас еще полным-полна коробушка... Да и стол у нас более-менее. А? Не тащить же все туда?

— Нет-нет,— поспешила успокоить хозяина Надежда.— Ни в коем случае! Здесь у вас очень хорошо.

Виктор Борисович положил гитару на шкаф и присел рядом.

— А ты же когда-то играл, Витюш,— сказала жена.

— Что ты, Лелечка! Аккомпанировать Наде?.. Где мне? Не смогу!

— Ничего,— сказала Надежда, вставая.— Что же спеть? Сейчас докурю... Налейте мне еще, пожалуйста.

Виктор Борисович, испытывая чувство вины, с готовностью налил Надежде водки.

И в это время встал Михаил Сергеевич, за спиной Надежды дотянулся до лежащей на шкафу гитары,— все увидели, какой он высокий, Виктор Борисович застыл с бутылкой и выжидательно глядел на Михаила Сергеевича.

— Мишенька, вы играете?

— Попробуем,— ответил неопределенно Михаил Сергеевич и тихо потрогал струны.— Ее надо настроить.

Михаил Сергеевич, ни на кого не глядя, как будто он был один, положил на колени гитару, потер пальцы и наклонился над ней.

В комнате установилась тишина ожидания. «Черт!.. Зачем я приперся сюда? — досадовал на себя Михаил Сергеевич.— Дернуло же меня согласиться... Да еще братья за гитару...» Перебирая струны, он поднял глаза и увидел Надежду, повернувшуюся к нему и пристально глядевшую на его руки.

— Слушайте,— уже слегка захмелевшая, Надежда погасила в пепельнице сигарету.— А, право же, хорошо!.. Свечи. Наш тихий разговор. И эти чуть слышные аккорды... А?

Михаил Сергеевич развернулся с гитарой к Надежде — перед ним была ее улыбка. На правом ухе он увидел коричневую клипсу. Он задержал взгляд на ней, словно смутно что-то припоминая, затем, прервав игру, выпил стопку водки.

— Хорошо,— сказал он.— Что вы будете петь?

А сам расставил ноги, положил на левую гитару, вновь — уже свободнее — прошелся по ладам. Снова поднял глаза и увидел не клипсу, а родинку на мочке правого Надеждиного уха. Самую настоящую. Коричневую, со сверкающим пушком.

Михаил Сергеевич откинулся к спинке стула и расстегнул воротник рубахи, хотя в комнате еще не было душно.

«Не целуй ее. Ты меня оглушаешь»,— откуда-то издали донесся к нему шепот. Но шепот заглушили первые звуки старинного романса, выравнившиеся из-под его рук.

*«Не пробуждай воспоминаний минувших дней, минувших дней. Не возбудишь былых желаний в душе моей, в душе моей...»*

Надежда выслушала вступление и попросила начать еще раз. Она прикидывала, как будет звучать ее голос в этой комнате, как Михаил Сергеевич будет вести аккомпанемент.



Голос зазвучал полно и глубоко, и пение захватило и ее и гитариста. Входя в романс, она входила и в какие-то свои, близкие романсу воспоминания. Михаил Сергеевич почувствовал это сразу и увидел ее — вдали от этой случайной комнаты и слушающих ее случайных людей; он увидел, что она как бы забыла о них. Под конец она остановила взгляд на Михаиле Сергеевиче. «Хорошо. Очень хорошо!» — сказали ее глаза, и ему нужен был этот ее взгляд — пальцы сами брали единственно верные аккорды, верный темп, верное звучание. И он сам почувствовал, что хорошо.

— Вас зовут Миша? Мишей, да?.. — задумчиво, как бы про себя, проговорила Надежда, когда закончила романс.

И, вскинув голову, обеими руками пригладив волосы, сказала: — Начните еще что-нибудь.

Михаил Сергеевич почувствовал, что он готов сейчас исполнить любую ее просьбу, что он готов предугадать любое ее желание. И ему — в который раз! — пришли на ум слова Льва Толстого из «Крейцеровой сонаты». Он знал их наизусть. «Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что делает?.. Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу...»

Там у Толстого есть и другие суждения, противоречащие этим, но он был согласен только с этими. Музыка подчиняет людей, заставляет их объединяться. Давным-давно, еще не подозревая о существовании толстовских слов, он познал это в детстве, в родной деревне, когда выходил с балалайкой за двор, на улицу, и пел частушки. «Сяду я на лавочку, возьму балалаечку. Как ударю по струнам, приходите, девки, к нам!..» Приходили девки, приходили бабы, приходили мужики. Приходили после долгого и тяжелого дневного летнего труда. И пели под его балалайку, сбросив с плеч тяготы дня.

«...забывать себя, мое истинное положение... Кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу...»

*«Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые. Нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица, давно позабытые...»*

Гости заулыбались, будто он узнал их тайное желание послушать именно этот романс. Надежда, выжидая время вступать, стояла у шкафа, держалась за спинку стула и напряженно глядела то на левую руку Михаила Сергеевича с опустившимся до самого локтя рукавом, то на него самого. Ее явно что-то тревожило, но этого не замечали слушатели, как чаще всего они не замечают истинного состояния артиста на сцене. Но Михаил Сергеевич заметил тревожный

взгляд Надежды и, не находя причины его, наклонился над гитарой и ожидал ее вступления. Он давно не играл на гитаре и боялся, что не сумеет как следует сопровождать прекрасное пение Надежды. А то, что она пела прекрасно, — в этом уже не было никакого сомнения. Он настолько хорошо это чувствовал, что первые же слова романса сильно, до слез взволновали его.

Надежда не показывала голос свой, не принимала эффектные позы, не заламывала руки. Все это она справедливо считала пошлостью в пении. У нее вызывало недоумение, когда певец на глазах у слушателей, в эдаком глубочайшем отрешении от всего земного, садится перед театральным столиком с горящей свечой, облакачивается, кладет голову на руку, изображая философскую задумчивость, и начинает петь, и так из концерта в концерт...

Нет, Надежда была настоящей драматической актрисой и, кроме пения, играла каждый романс, никогда не повторяясь, показывая все, что в нем существует, заставляя слушателей находить в себе то, что заключено в романсе. Казалось бы, заветные слова вдруг звучали первозданно и обретали в сердце каждого слушателя свой изначальный смысл.

Это была самая трудная форма исполнения, доступная артистам большого таланта.

Михаил Сергеевич это понимал. Он поднимался до понимания истинного в пении и музыке, и в этом заключалось его счастье. Несчастье же его, как он думал, заключалось в том, что он не мог подняться до исполнения музыкальных произведений так, как он их чувствовал и понимал. И сознание этого приносило ему длительную боль, почти физическую боль.

— Надя, где вы учились? — спросил Виктор Борисович.

— Воронежское музыкальное. Затем консерватория, — сказала Надежда, присев передохнуть и взяв сигарету.

— Московская?

— Нет. В Свердловске.

«Воронежское... Неужели?...»

— Надя, спойте что-нибудь из репертуара Рады Волшаниновой, — попросил гость, похожий на цыгана.

— Да, пожалуйста! — вразной загалдели гости. Каждый из них теперь хотел услышать свою любимую вещь и ждал первого удобного мгновения, чтобы высказать свое желание.

— Друзья, Надя должна же отдохнуть, — вклинился Виктор Борисович.

Михаил Сергеевич молча сидел, положив уставшие с непривычки руки на деку гитары.

— Ничего. Я не устала. — Надежда повернулась к Михаилу Сергеевичу. — А вы, Миша?

— Я, как вы...— Михаил Сергеевич поднял голову. Надеждина родинка была у самых глаз.

«Не целуй ее. Ты меня оглушаешь!..»

Так это же та самая Надя. Надеждинка!

Михаил Сергеевич взял знакомые аккорды. И вновь все переглянулись.

*«Я ехала домой, душа была полна каким-то для меня совсем неясным счастьем...»*

— Слушайте, это прекрасно!.. Да, вечер ромansa!..

— Нет! Целая ночь ромansa!..

*«Я е-ха-ла домой...»*

Да, она ехала домой... А он?

В середине августа 1946 года Михаил Сергеевич — тогда просто Мишка — получил долгожданное письмо. Сердце стучало где-то в горле, когда он разорвал казенный пакет со штампом музыкального училища. Он до сих пор хранит это письмо. «Тов. Кобзарь Михаил Сергеевич! Музыкальное училище г. Воронежа вызывает Вас на 26 августа 1946 года к 10 часам на экзамены». Подписи — директор и секретарь.

Мать, прервав побелку стен хаты, стоя посреди двора, обрызганная известью, прослушала письмо. У нее дрогнули губы. Она заволновалась — из дому уезжал единственный сын.

— Не надо, мамо. Теперь же все хорошо. Вы остаетесь в своей хате. Не надо. Я буду писать...

— Та спасибо, ридненький. Я ничего... Я не плачу,— мать дрожжащими губами еле выговаривала слова.— Я припоминаю як ты — маленький ще був, годика два тоби минуло — находил дощечку, вбивал в нее гвозди, натягивал на них нитки, трогал их, як струны, та и прислонял мени до уха. «Ты посюсяй, мамо! Посюсяй!» Послушай, значит!.. И откуда воно оце у тебе?.. Як ты ждав балалайку! А гитару, помнишь, як мы купили?.. И не отступаешься ты!..

*«Я е-ха-ла домо-ой... Двурогая луна светила в окна душного вагона...»*

Нет, не было луны. Был ранний августовский вечер. И был вагон. Товарный вагон.

Мишка не захотел, чтобы мать провожала его. На то была причина. Мать думала, что сына придет провожать какая-нибудь дивчина, и он стесняется. Но дело было в другом. У Мишки мало было денег. И он задумал добратсья до Воронежа на товарняках. Узнай об этом, мать всполошилась бы.

В Россоши ему повезло. Едва он пришел на станцию, на платформу у пакгаузов, где ожидали отправки сформированные составы, как увидел отправляющийся на Лиски товарный поезд. Он взобрался на тормозную площадку, поставил баян под тормозное колесо, накинул на него ремень футляра, чтоб баян не двигался от тряски в пути, и поезд тронулся. Когда, величественный, как корабль, проплыл мимо элеватор, Мишка увидел сразу за садами свою хату — высокая труба над камышовой крышей. Матери за двором не было. Не знал он, что она пошла к железной дороге в надежде увидеть его. Но поезд прошел раньше, и ей пришлось вернуться ни с чем, простояв у железной дороги до захода солнца...

В Сагунах Мишку согнал с площадки кондуктор, рыжий, с запыленными глазами мужик. Как ни просил Мишка довести его до Лисок, тот и слушать не хотел.

— Давай уматывай с поезда! — кричал он. — Знаем мы вас! Штаете тут по вагонам! Вали отсюда, а то штрафану!..

Мишка слез с площадки и пошел в голову поезда. Кондуктор потопал в хвост. Площадки, как назло, не попадалось. Уже пробовали тормоза.

Мишка побежал вдоль состава задыхаясь. Футляр колотил по боку, обрывая плечо. Вагоны, вагоны. И все без тормозных площадок. И вот один вагон открыт. Мишка поравнялся с ним в тот момент, когда поезд тронулся. Мишка на ходу снял с плеча ремень, подбросил на руках футляр и поставил его на пол вагона. Ухватившись за край стенки, подпрыгнул и уперся коленкой в скобу-ступеньку. Подтянулся, вскинул правую ногу на пол и влез в вагон. Не вставая с полу, отдыхивался.

— Еще один! — услышал он над собой неожиданно и вздрогнул. Повернул голову на голос и увидел брезентовые сапоги, голенища в гармошку. Поднялся. Перед ним стоял парень в галифе и гимнастерке с темными следами погон. Года на три старше Мишки. Военная фуражка на затылке, в углу губ — папироса.

— Тебе некуда было сесть? — процедил парень сквозь зубы. В верхнем ряду сверкнула — под цвет его глаз — латунная фикса.

— А ты шо? Закупил вагон? — огрызнулся Мишка, переводя дыхание.

— Заткнись! — фиксатый схватил Мишкину кепку за козырек, натянул ее до самого подбородка и скрипуче хихикнул.

Мишка поднял козырек, поправил кепку, оттащил футляр в угол вагона и отряхнулся.

— Далеко собрался? — не отставал Фиксатый.

— До Лисок, — нехотя ответил Мишка.

— Ха! И тебя папочка встречать будет?

Мишка не понял, о каком папочке идет речь.

— Чего не отвечаешь, раз спрашивают? — наглед Фиксатый,

оглядывая Мишкин футляр. — Вон ее, — он указал рукой в противоположный угол, — папочка встретит. А тебя?

Тут только Мишка увидел, что они не одни в вагоне. В углу, скрестив руки на груди, будто защищаясь от удара, стояла девушка в серой блузке. Гладко расчесанные на пробор волосы, голова втянута в плечи. По груди, под рукой, к поясу спускалась толстая коса с малиновым бантом на конце. Девушка исподлобья глядела то на Мишку, то на Фиксатого.

Мишка сразу понял, что произошло что-то неприятное для нее.

— Кто и где меня встретит — не твое дело, — сказал он, отодвигая ногой футляр в глубь угла.

— Смотри, какой смельчак, — недобро ухмылялся Фиксатый, расставив широко ноги.

Вагон качало. Поезд набирал ход.

— Отстань! — резко сказал Мишка и присел на футляр.

— Пойми их... Та — не лезь, этот — отстань... — сказал, сверкая своей латушкой, Фиксатый. — Вы что? Сговорились, что ли?

Мишка молчал.

— Тебе-то против меня чего хвост задирать? — несколько примирительно сказал Фиксатый. — В самом деле, куда едешь?

— Поступать в музыкальное, — ответил Мишка откровенно, предполагая, что тот отстанет от него.

— О-о, полюбуйтесь, какой культурный! Значит, это у тебя баянчик? Да? — он толкнул ногой в футляр.

— Полегче. — Мишка сжал кулаки и почувствовал озноб.

— Может, ты нам сыграешь чего? И мы развеселимся? А? — присел на корточки Фиксатый. — Я очень люблю культурную музыку!

Он достал из кармана галифе немецкие сигареты и закурил.

— А ты любишь культурную музыку, Надя? — Фиксатый повернулся к девушке.

Девушка не ответила. Руки по-прежнему были сомкнуты на груди.

Фиксатый поднялся, сделал несколько глубоких затяжек, швырнул сигарету в дверь, вернулся к Мишке и оперся плечом о стенку.

— Слушай, — заговорил он полушепотом. — Хватит трепотни. До Лисок уже недалеко... Знаешь что? Давай вместе э т у... — он кивнул на девушку. — Помоги... Орет и царапается, зараза...

Фиксатый потрогал рукой ссадину на своей скуле.

— Давай! Девка — что надо. Я щупал! Их!.. — Он в предвкушении оскалил фиксу, латунные глаза его сверкнули.

Мишка взглянул на девушку. Она слушала Фиксатого и, кажется, еще больше сжалась, глядя исподлобья холодно. И с Мишкой произошло то, что происходило с ним в крайних случаях: он сначала действовал, а потом уже разбирался в своих действиях.

Мишка мгновенно напряг ноги и, вскочив, ударил головой Фиксатому в челюсть.

— Убирайся, гад! — закричал он, не чуя себя.

Фиксатый клацнул зубами, отлетел до закрытой двери, упал и стукнулся о дверь боком; фуражка откатилась к стенке.

Девушка бросилась мимо открытой двери к Мишке и стала за его спиной.

— Ну с-сука! Культурный музыкантик! — Фиксатый медленно поднялся с пола и сплевывал кровь. — Музыкашкой своей ты не займешься. Эт-то я тебе гарантирую! Я в детдоме не таких пришивал!..

Встал, рукавом размазал кровь по подбородку.

— Зуб высмалил, сука! Я с тобой рассчитаюсь. На баянчике твоём поиграют другие!..

Он нагнулся и вынул из-за голенища финку.

— И ты за его спину?.. Тварь!

Он сузил свои латунные глаза, поднял финку в левой руке, двинулся к Мишке, приседая.

Для Мишки неожиданностью был нож, но еще большей неожиданностью было то, что Фиксатый оказался левшой. Еще в школе от военрука Ройкова, бывшего разведчика, перенял Мишка приемы защиты при нападении. Не раз они выручали его в мальчишеских потасовках. Но тогда же, на уроках воедела, Мишку нередко обманывал, перекидывая нож из руки в руку, единственный в классе левша Вовка Тесля. Мишка припомнил это, едва увидел, как Фиксатый занес в левой руке финку.

«Захватить руку с ножом, — лихорадочно забились у него мысль. — Руку с ножом!..»

Мишка вскинул футляр над головой.

— Иди!.. Иди, гад! — закричал он. — Иди, я размножу тебе черепок!

Фиксатый остановился посреди вагона, спиной к открытой двери. «Садануть бы его, чтоб вылетел из вагона! Бить баяном, придерживая за ремень!..»

Мишка пошел вдоль стенки. Напротив двери, держа над собой баян, ухватив рукой ремень, приостановился. Мимо пропльвали поля и темные в собственной тени посадки. Уходил хороший августовский вечер. Фиксатый с финкой в руке стоял спиной к двери...

«Броситься! Грозить баяном, а ударить ногой. Толчком. По центру. Ему не за что будет ухватиться!..»

Мишка кинулся на Фиксатого. Девушка, не понимая Мишкиного маневра, закричала. Фиксатый, будто разгадав Мишкин замысел, отпрыгнул в сторону, в угол, где только что загнанно жалась девушка. Мишка тут же отступил. «Болван! — обругал себя мысленно, — Фиксатый, отскочив, мог схватить меня за руку и с ходу швырнуть в дверь...» От этой мысли Мишка мгновенно взмок и вдруг вспомнил про свой пояс — гордость его перед ребятами, морской пояс с медной, залитой свинцом бляхой.

Все еще держа баян над головой, крикнул девушке:

— Сними пояс! С меня! С меня сними пояс!

Девушка обхватила его сзади дрожащими руками, расстегнула пояс и вынула из петель.

Фиксатый стоял в нерешительности. Мишка заметил его нерешительность. Враз поставил баян на пол, выхватил у девушки пояс, сложил вдвое — бляхой к концу.

Фиксатый двинулся вдоль стены к закрытой двери. Мишка петлей надел на руку пояс и шагнул на середину вагона.

Поезд мчался на всех парах. Фиксатый, видимо, понимал: медлить нельзя. Уже начинались меловые горы. Значит, скоро Дон, а там и Лиски. Он понял, что запросто Мишку не взять. Но уверенности ему придавал нож. Фиксатый полагал, что Мишка сможет только обороняться. Мишка же, выйдя на середину, внезапно прыгнул к Фиксатому и что было сил ребром бляхи хотел ударить по руке с финкой. Фиксатый успел отдернуть руку к груди. Тогда следом же — на этот раз удачно! — Мишка рубанул Фиксатого по левому плечу. Тот застонал от боли, прислоняясь к стенке; финку взял в правую руку. От стенки бросился на Мишку.

«Руку с ножом!..»

Мишка рванулся навстречу, удачно перехватил левой рукой занесенную над ним руку Фиксатого с финкой, правой уцепился за воротник его рубашки и, падая на спину и оперев колено в живот Фиксатого, отчаянным рывком кинул его через себя.

Падая на Мишку, Фиксатый, как ему показалось, полоснул-таки по Мишкиной шее, и в тот же миг в открытую дверь, снизу, ворвалась в его глаза серая лента железнодорожной насыпи; он выпустил нож, потянулся рукой к дверному косяку, но, подтолкнутый Мишкиными ногами, не смог ухватиться за него и с диким воплем вылетел из вагона...

Мишка, не понимая всего, что произошло, лежал, распластавшись, у самого края пола. Ветер освежал мокрый его лоб, шевелил волосы.

Все болело. Внутри была противная дрожь. Под левой рукой было что-то теплое. Он поднял руку. Она была в крови.

Мишка сел, достал из кармана носовой платок, промокнул кровь. Выше кисти наискось наливалась кровью ножевая рана.

Мишка зажал рану платком.

— Подожди, — засуетилась Надя. — Я сейчас!..

Она сняла с себя блузку, разорвала ее и обмотала лоскутом раненую руку.

— Очень болит?

— Не-ет, — ответил Мишка. Рана, и правда, не болела. — Зачем блузку-то извела?

— Молчи! Есть еще... выходная.

Она отошла к своей кошелке, достала из нее голубую в белый горошек кофту и надела ее. Опустилась рядом, поджала ноги, ткнулась ему в грудь. Мишкиного подбородка касались вздрагивающие ее волосы, пахнувшие летом и еще чем-то неведомым. Он приподнял над волосами здоровую руку, хотел погладить их, но не посмел и отстранил Надю от себя.

— Мне так страшно! — сказала она.

Мишка повернулся к двери и посмотрел вниз. Серовато-желтой лентой летело полотно встречной линии железной дороги. Мишка снова ощутил озноб. Он представил, как Фиксатый грохнулся на гравий, на шпалы, на рельсы, и вздрогнул.

— Знаешь, он как в воду нырнул, — сказала Надя, видимо, поняв, о чем думал Мишка.

— Хорошо нырнул. Черт с ним!..

Он встал, увидел фуражку Фиксатого на полу и подцепил ее носком ботинка. Она взлетела на ветру и, как перекасти-поле, закувыркалась вслед за поездом.

— Что тут есть еще его? — Мишка огляделся.

— Вон мешок какой-то, — показала Надя на тряпье в углу вагона.

Мишка выбросил ногой и мешок. Вновь взглянул на ленту железнодорожного полотна. «Все могло быть наоборот...» — подумал он и с ужасом представил мать. «Мне сон нехороший снился, сынок...» — сказала она утром.

— Как тебя зовут? — спросила девушка.

Мишка назвалась.

— А ты как очутилась с ним? — спросил в свою очередь.

— Да мы в Подгорной сели. Я гостила у бабушки, в Саприне. Бабушка проводила меня до станции. Поездов все не было и не было. Мне стало жалко бабушку. Она старенькая. А ей надо было еще обратно идти. А поездов все не было и не было. Тут подходит к нам э т о т. «Чего ждете? — говорит. — Поездов? На Воронеж? А можно на товарняке до Лисок. А там до Воронежа — рукой подать. Я как раз туда еду». Мило так улыбается. Зубом светит. Ну, я и развесила уши. А тут бабушку было жалко... Я и согласилась ехать с ним до Лисок. Бабушка долго не хотела, чтоб я ехала так. Но я уговорила ее. А она... только отъехали... Начал... блузку разорвал...

— А в Сагунах почему не сошла?

— Он не пустил. А потом божился — не будет лезть.

Надя поднялась.

— Почему люди т а к и е? — грустно сказала она. — Почему? Им веришь, а они...

— Не все же... — возразил Мишка.

— Да-а-а...

Поезд подходил к Лискаам. Уже переезжали Дон.

— Тебя в самом деле ждет отец в Лискаах?



— Не-ет, это я придумала. Чтоб он забоялся.

Мишка шагнул к баяну.

— Тогда собирайся. Попробуем на пассажирский попасть. Надя послушно сунула лоскутки блузки в свою кошелку.

На лискинском вокзале народу было — яблоку негде упасть. Они уселись на перроне. У Нади в кошелке оказался кусок хлеба, завернутый бабушкой в тряпицу. Мишка принес кружку кипятка, и они проворно поели.

— Миш, а вдруг он появится тут?

— Думаю, это нескоро будет, — сказал Мишка. — Ты представляешь, на полном ходу пропахать по насыпи?.. Не волнуйся.

— А зачем ты едешь в Воронеж? — спросила Надя.

— Я правду сказал. Поступать в музыкальное.

— Ой, а как же ты будешь теперь? — Она показала на перевязанную руку. — Как будешь играть-то?

Мишка пошевелил пальцами.

— Ничего вроде...

Надя задумчиво посмотрела на него.

— А ты именно в Воронеж и хотел?

Мишка помолчал.

Он мечтал о Москве.

Как-то на тетрадном листке бумаги нарисовал гриф — на нем были музы и музыкальные инструменты. В центре надпись: «Консерватория «Мечта». Внизу текст: «Тов. Кобзарь! Вы вызываетесь на экзамены в консерваторию «Мечта» к 25 августа 1945 года. Явка обязательна. Директор...» И сам замысловато расписался.

— Знаешь, мама, я показал бумажку хлопцам — поверили. Понимаешь?

— А ты все ж-таки мечтаешь за музыку? — волнуясь, сказала мать.

— Да! — горячо шепнул он.

«Сынок родной, — думала мать. — Батька немає. Грошей немає. Одежки-обувки немає... От вона яка, музыка...» А вслух сказала:

— Ну, потерпи. Вот закончится война...

Мишка терпел.

Вот закончится война...

Однажды прибежал из клуба домой и стал рассказывать об историческом кинофильме, который только что видел. В нем, оказывается, играла главную роль двоюродная сестра отца. Значит, она живет в Москве, думал Мишка. Тут же написал ей письмо, без обиняков прося помочь поступить в какое-либо музыкальное училище. Шли недели. Ответа не было. Так Мишка и не дождался его. Потом

узнал, что в Тамбове есть музучилище. Там жила родная сестра отца. Тут уж Мишка попросил лишь сообщить об условиях приема. Ответа тоже не последовало. Видно, испугались тетки, как бы Мишка не стал для них нахлебником.

По-мальчишески разобидевшись на родичей, Мишка понял, что надеяться он может только на самого себя.

Вот закончится война...

Весной 1946 года он услышал, что открыто музыкальное в Воронеже. Это ближе к дому. И он решил ехать в Воронеж.

Он мечтал о славе. Он представлял, как уедет после войны в консерваторию. Скажем, как Петька Говорков в кинофильме «Музыкальная история». Окончив консерваторию, вернется в родной город знаменитым музыкантом. Сойдет с поезда — в сером костюме, в шляпе с лентой, с легким лакированным чемоданом в руке; на другой будет свернутое демисезонное серое пальто, точь-в-точь, как у директора яйцебазы, где до войны работал отец. Мишка будет идти со станции, непременно встретит кого-либо из своих сверстников; они с трудом будут узнавать его. С пожилыми людьми он будет здороваться, приподнимая шляпу, и старики, когда он пройдет мимо, будут долго из-под ладони смотреть ему вслед и гадать: чей же это сын?..

— Ты знаешь, я подумала: а вдруг бы ты сегодня не ехал в Воронеж? Что б со мной было?

— Теперь уж об этом не надо, — успокаивал Надю Мишка.

— Знаешь, я тоже мечтаю о музыкальном. Но мачеха не хочет. Долдонит: иди да иди работать!

— А где мать?

— Убило в сорок втором. Когда эвакуировались... Мы бежали по Студенческой. Бомба грохнула рядом. Маму на месте. А меня откинуло волной... А у тебя есть родители?

— Одна мама. А батька... немцы забили. В оккупации.

*«В горе молчаливая, в праздник хлопотливая... Мама! Милая мама!..»* — пела Надежда.

Может быть, она тоже вспоминает свою маму. Может, видит ее там, в далекой военной дали...

— Какие были хорошие песни!

— Как пела эту вещь Шульженко!

Мишка снова перенесся в дни перед отъездом в Воронеж. Он заканчивал строить погреб. Притащил со свалки раму от немецкого грузовика, положил ее на яму, застелил досками, всяким железом

и присыпал землей. Погребница была готова, и он легко вставил ее в квадратную дыру рамы. Взмокший, присел отдохнуть и уловил материн взгляд на себе. Она стояла под абрикосом и глядела на него.

«Господи! Что б я без него? Без моего роденького помощника?...»

С самого утра она стирала для Мишки, сушила, гладила, то и дело украдкой поглядывая на него. Она вспоминала сына маленьким, лет пяти-шести, в коричневой в клеточку рубашонке, в коротких штанишках. В гости приехали братья мужа, Иван и Михаил, командиры Красной Армии. Собрались все за столом. Сын взобрался на колени Ивана, трогал пальцем его ремни, петлицы, пуговицы со звездочками.

— Ты кем будешь, Мишук? — спрашивал Иван.

— Музыкантом! — выпаливал Мишка.

— О-о! Красной Армии музыканты нужны!

Иван наливал Мишке в лафетничек глоток кагору.

— Давай, музыкант!

И Мишка запросто опрокидывал рюмку, как взрослые.

— Ваня, шо ты робишь? — переживала мама.

— Ложку кагора детям даже поп в церкви дает! — отшучивался

Иван.

Потом все пели. А пели всегда здорово — в два-три голоса. Пели старинные украинские песни, романсы. Вся улица собиралась под окном послушать.

Мишка, бывало, усядется в сторонке, слушает и обливается слезами. С детства не мог он слушать спокойные песни и музыку.

Вспомнились матери и другие слезы... Раз он прибежал от сестры мужа. Прибежал заплаканный. Он играл там на балалайке, когда в дом вошел деверь Дмитро. Увидел Мишку, вырвал из рук балалайку и вытолкнул из кухни.

— Марш отсюда! Хай батько тобі купит инструмент — тоди и грай!

С полгода мать упрашивала отца купить Мишке балалайку. Да все не могли стянуться. То ботинки нужнее были, то пальтишко. А уж когда привезла наконец из Россози шестиструнку, он не расстался с нею. Спать ложился и ставил ее «в головах». Ночью проснется и протягивает руку, ощупывает ее — на месте ли? Ощупав, спокойно засыпает.

«На баянчике твоём будут играть другие...» Мерзавец! Знал бы он, как Мишка шел к нему. Баян — последняя Мишкина надежда.

Вскоре семья переехала жить в город Россось.

В-городской школе Мишка научился играть на мандолине, а перед самой войной — на гитаре. В школьном оркестре играл.

Жили Кобзари на улице Фрунзе. По соседству квартировал старый учитель. По вечерам он выходил во двор и подолгу играл на скрипке.

Мишка стеснялся подойти к нему. И все-таки желание поближе увидеть скрипку, а может быть, и подержать ее в руках победило.

Учитель, большой и одинокий, оказался приветливым. Мишка, едва взял скрипку в руки, потрогал струны, понял, что строй скрипки схож со строем мандолины. Смущало лишь отсутствие ладов. На удивление учителю, Мишка сразу стал подбирать знакомые мелодии.

— Считайте, что это и ваша скрипка, приходите, молодой человек! — мягко сказал он.

И Мишка приходил.

Он забросил футбол, перестал рыбачить и целыми днями и вечерами играл на скрипке.

Раз в выходной день, вечером, пришел учитель к Кобзарям. Отец был дома. Учитель вошел в комнату, остановился на пороге, покашлял и жалобно, как показалось Мишке, сказал: «Знаете, ваш мальчик очень талантливый. Вы должны послать его в Москву учиться музыке. Непременно!.. Вы понимаете, очень талантливый...»

«На шо? — сказал отец. — Он и так играет на всех инструментах».

Мишка перевел глаза на мать. Она стояла у печки и разогрела на сковородке картошку. Недоуменно взглянула на отца, потом на учителя. Ей так неудобно было за слова отца. А учитель понял, что союзником Мишки будет мать, и уже обратился к ней. «Мальчику надо учиться музыке. Вы понимаете? Мальчик будет играть профессионально-но», — сказал он и ушел.

В тот же день отец и мать поругались. Отец, как только вышел сосед, сказал, что какого, мол, черта, мешаться не в свое дело. Учиться в Москву!.. А на какие деньги? Кто с ним, девятилетним шкетом, поедет туда, в Москву? И где он там будет жить?..

Мать стала укорять отца в жадности, в нежелании позаботиться о единственном сыне. Мишке казалось, что она тут же готова собрать вещички, взять его и уехать в далекую Москву ради него. Но он понимал, что нельзя же в самом деле оставить отца и уехать. В то же время в ушах звучали тихие и твердые слова: «Мальчику надо учиться музыке...»

Мать присела у духовки и заплакала. «Як жаль, шо умерла теть Даша, — сказала она. — Була б она живая, ты бы, сынок, сразу поехал в ту Москву...»

Бездетная матрина сестра, умершая в Москве четыре года назад, так любила Мишку, что даже просила мать отдать его ей...

«Мальчику надо учиться музыке...»

Эти слова потерялись в грохоте сорок первого года.

Вот закончится война!..

В дни немецкой оккупации в хату Кобзарей иногда сходились соседские бабы.

— Миша-сыннок, заиграй шо-нибудь наше.

Однажды Мишку за игрой на гитаре застал немец.

— О-о! Шпилен-шпилен! Гут. Давай-давай!..

И запел:

— Вольга-Вольга, муттер-Вольга!.. Давай-давай!..

Когда немец ушел, отец — он тогда еще был жив — сказал зло:

— Муттер-Вольга... Подожди, растак твою... Она ще покаже тоби «муттер»!..

— Надя, а вы сразу путь свой выбрали? Как это произошло?

— Было это давно. После войны. Страшно сказать — как я уже стара... А помог мне один парень. Старше меня он был года на два — на три. И, между прочим, звали его... Мишей!..

Надежда повернулась к Кобзарю.

А тот задумчиво перебирал струны.

— Скажите, Миша, где вы учились играть?

— Нигде, — покачал головой Михаил Сергеевич.

— Удивительно! Вы так глубоко чувствуете музыку. Вам бы непременно учиться! — говорила женщина с шарфиком на шее. Все кивали в знак согласия.

Надежда долгим взглядом поглядела на Михаила Сергеевича.

«Наверное, и она вспомнила...» — подумал он.

В Лисках они сели на пассажирский поезд 165-бис. Когда он прибыл, они зашли с хвоста. Искали свободную подножку или сцепление. Почти у каждого вагона толпились мешочники. Пришлось пройти чуть ли не весь состав.

Поезд лягнул буферами. Мишка посадил Надю на ступеньку ближайшего вагона.

— Пробирайся на буфера. Видишь, там железная полка. Становись на нее и держись за скобу, вон прямо перед тобой.

Сам с трудом вскочил на подножку. Баян оттягивал плечо. На рывках поезда футляр вело по ходу. Едва удерживался. Затекали руки.

Мишка просовывал руку за поручень, обнимал его и прислонялся щекой к нему. Долго стоять так было невозможно, он переступал с ноги на ногу. Поглядывал вниз, чтоб не оступиться. Поглядывал бего — от несущегося перед глазами полотна кружилась голова.

— Миш, Миш, давай футляр сюда! Давай поставим его на полку, и я сяду на него, — закричала Надя, сверкая глазами. — Можно? Тебе легче будет стоять. Или иди сюда. Тут можно вдвоем!

Мишка осмотрелся, попросил подвинуться чуть в сторону стоящего впереди мужика с окулунком у ног. Тот поворчал, но подвинулся, освободил края ступенек. По ним Мишка пробрался на верхнюю ступеньку, осторожно снял ремень с плеча, подал его Наде; сам поддерживал на весу футляр.

— Гляди под ноги,— предупредил ее.

Надя ухватила относимый ветром ремень. Мишка, не упуская его тоже, шагнул на буфер, плавающий, как по волнам, и они поставили на полу ящик. Надя уселась на нем. Мишка почувствовал великое облегчение, стал рядом и загородил ее от пространства между буферами; как нити в ткацком станке, вытягивалась насыпь железной дороги.

— Не смотри вниз,— сказала Надя.— Кружится голова.

Мишка намотал ремень на руку, нащупал место, чтобы стать на полную ступню, и невольно вслушивался в грохот поезда.

Давно смерклось. Уже не видно было посадок и полей. Все сливалось в одну черную полосу.

— Не засни, пожалуйста,— сказала Надя и встала. Лицо ее светлело у самых его глаз.— Не засни, смотри.

— Не спать! Не спать! Не спать! — начали выстукивать колеса на стыках. Надя просунула горячую руку у него под мышкой и, обняв, держалась за него. Изредка во тьме шептала:

— Тебе удобно стоять? Не заснул? Мне страшно — не засни.

— Не спать! Не спать! Не спать! — стучали колеса.

— Миш, ты рассказывай что-нибудь. А?

Говорить было трудно. Надо было кричать, чтоб слышать друг друга. Мишка видел во тьме ее глаза, ощущал ее, прижавшуюся к нему. Она то и дело засыпала. Он чувствовал, как она тяжелеет, как падает ее голова ему на грудь, и крепче прижимал ее к себе. При торможении или рывке она в испуге просыпалась и опять кричала:

— Ты не засни, Миша. Не спишь?

Впервые Мишка подумал о странностях жизни. Сегодня утром он и не подозревал о существовании Нади. И вот они едут, прижавшись друг к другу. Как будто давно-давно знакомы.

Город был во тьме. Лишь в здании, приспособленном под вокзал (вокзал был разбомблен), тускло горело две-три лампочки. Они освещали сонные серые лица людей. Спали кое-как. Кто улегся на скамейках и тяжелых дубовых диванах с выжженными буквами НКПС<sup>1</sup> на спинках. Кто прикорнул у стены. Кто склонился на спящего соседа. Во сне придерживали руками мешки, сумки, чемоданы, подкладывали их под себя, прикрывали полами пиджаков и кофт детей.

Духота. Запах пота и грязи. Храп. Сопень.

— Пойдем прямо к нам,— предложила Надя.— Это не очень далеко.

— Как к вам?— не понял Мишка.

---

<sup>1</sup> Народный Комиссариат путей сообщения.

— Очень просто. Я расскажу дома про все. Ты же меня спас. Ты понимаешь?

— Ну и что?— У Мишки слипались глаза.— Нет. Не пойдем сейчас. Боюсь за баян. Еще отнимут... ночь...

— Ну, ладно,— сказала Надя.— Давай до утра тут. Тебе когда в училище?

— Послезавтра.

— Ну, вот у нас и побудешь. А?

Мишка кивнул.

Болели ноги. Болели плечи. Болело все. И очень хотелось спать. Они нашли в зале у обшарпанной стены свободное место. Поставили баян к стене. С обеих сторон уселись на полу, положив руки на футляр, а на руки — головы, так что утащить баян было невозможно, и уснули голова к голове, слыша дыхание друг друга. Засыпая, она шепнула:

— Ты не бойся за баян. Я услышу... обяза...

И ладонью коснулась его щеки.

Мишка проснулся от того, что услышал стон. Стонала во сне Надя. Она отводила от себя руку, будто отгребала воду, и выдыхала со стоном: «Уйди! Уйди же!.. Ну, прошу тебя, уйди-и!»

Мишка легко потрепал Надю за плечо.

— Ой! — Она встрепенулась, кулачками стала тереть глаза. — Ой, знаешь, этот с фиксой приснился. Вроде приставил финку к груди мне... Фу, гадость!

— Ладно,— сказал Мишка.— Поспи еще.

Она послушно прилегла и спала еще с час. Мишка сидел рядом. Смотрел на ее полураскрытые губы, на нервно подергивающиеся руки. Под утро тоже уснул.

Разбудил их милиционер.

— Далеко едем, граждане?— спросил он.— Давайте освобождать зал на уборку. Поторопитесь, граждане!

Торопить их не надо было. Они тут же вышли из вокзала.

Всходило солнце. Затевался яркий день. Пока стояла прохлада.

Они перешли сквер с изуродованными бомбежками деревьями — без вершин, с ободранными ветками, с иссеченными осколками стволами. На скамьях сквера лежали и сидели люди. Крохотная девчурка, разбросавшись, спала. Над ней склонилась совсем молодая женщина, прикрыв веки. Платок ее сбился набок, из-под него курчавились седые волосы.

Надя несколько раз оглянулась на нее.

— Знаешь, она так похожа на маму. Мама тоже поседела в первые месяцы войны. Когда похорожки пришли. Сразу на двух братьев. Чуть не в один день...

Перешли площадь. Поднялись по улице, миновали огромное здание управления железной дороги и пошли проспектом.

Что это был проспект, гласила табличка на углу полуразрушенного дома. На самом деле это была расчищенная и подметенная дорога среди руин. Город казался мертвым. Справа и слева, вблизи и вдаль, возвышались каркасы сгоревших и разрушенных домов. Деревья, распахнув зеленые ветви, будто хотели укрыть их.

Оглядываясь по сторонам, Мишка шагал легко, хотя чувствовал еще дорожную усталость. Все ему казалось нереальным.

У Кольцовского сквера Надя приостановила его. Прямо перед ними на площади высились гигантские развалины.

— Это был обком, — сказала Надя. — Красивое здание. Еще немного пройдем, свернем направо и прямо к нам.

— Нет, Надя, давай сходим к училищу, — сказал Мишка. — Я хочу посмотреть. Ты знаешь, как пройти туда?

— Господи, какой ты нетерпеливый! Зачем в такую рань?

— Не знаю. Но давай сходим!

В стороне от проспекта повсюду громоздились груды щебня, кирпича, штукатурки, стекла. Мишке подумалось, что вся жизнь его, вся его дорога к тому, к чему он сейчас шел, была похожа на эту улицу — в развалинах, в камнях. Он не замечал, как они шли. Он вспомнил родной городок, бесконечные бомбежки, отступление наших, вторжение немцев, оккупацию, освобождение, гибель друзей, родных... Сколько их!.. Одних он хоронил сам. Другие загнули где-то вдалеке от родного дома. Третьи... от них не осталось ничего — они попадали под бомбы, снаряды... А вот он... он жив, он — у самой заветной цели!..

Мишка отвлёкся от своих раздумий только тогда, когда увидел на фронтоне уцелевшего дома табличку с названием улицы — Средне-Московская.

Это было чудом после того, что видел Мишка на всей дороге сюда. Как будто перешли они какую-то границу. Улица была целехонька. Над тротуаром склонялись большие деревья. Мишка посмотрел на Надю и улыбнулся. Она увидела перед собой счастливого человека.

— Тебе хорошо, Миш?

— Очень! — сказал он.

И вдруг произошло то, чего он сразу не понял. То ли в нем что-то пело, то ли вокруг него. Но он услышал пение и какие-то иные звуки. Они приближались. Они становились явственнее. Замедлив шаг, он зажал уши руками. Непонятные звуки и пение прекратились. Открыл уши — снова зазвучали.

Через несколько минут Мишка и Надя остановились у двухэтажного дома за кирпичной оградой. У ворот на ограде была вывеска. Из открытых окон, несмотря на ранний час, в синее утро, в листву окружающих дом деревьев, в небо, в сердце несло пение, звуки скрипок и фортепьяно. Дом будил музыкой новый день земли.

У Мишки перехватило дыхание. Он снял с плеча баян, поставил его у ног Нади и попросил подождать его. Надя молча кивнула.



Мишка с колотящимся сердцем вошел в ворота, пересек двор. У двери почувствовал такие сильные удары в груди, что они качали его. Только на секунду он задержал поднятую руку и все же открыл дверь. Перед ним, через коридор, у гардероба, сидела пожилая женщина-вахтер.

— Вы к кому?

— Я приехал поступать учиться.

— Приемные экзамены завтра,— спокойно, с явным сознанием значительности пояснила она.

— Я знаю...— замялся Мишка.— Но можно мне пройти по училищу?

Женщина пожала плечами, улыбнулась и молча развела руки.

Длинный коридор был свежеевымт. От него исходила прохлада. Двери комнат были закрыты. Почти за каждой играли и пели. Слева у окна стоял большой стенд, оклеенный исписанными бумагами. Мишка подошел к стенду и отыскал список допущенных к экзаменам. Класс скрипки... фортепьяно...

«Счастливики! — подумал Мишка.— Только бы поступить! Я займусь и пианино! Чайковский тоже начал поздно...»

Список поступающих в училище по классу баяна висел у края стенда. В списке было двадцать семь фамилий. В середине была и его фамилия, причем с ошибкой — Кабзарь. Он усмехнулся. «Ну, и ладно, хоть горшком назовите...»

Мишка поднялся на второй этаж. Двери. Двери. Двери. На каждой табличка. Класс преподавателя Давидовича. Класс преподавателя Чистякова... Кто же будет у него, у Мишки? И где будет его класс?

Спустившись снова на первый этаж, он увидел канцелярию. «Угу, завтра сюда и приходите...» Он приостановился у входной двери. «Ну, что ж, до завтра».

Он простился с дремавшей вахтершей. Дверь прикрыл за собой тихо.

— Ой, как ты долго! — сказала Надя.— Ну, выяснил все?

— Не все. Но себя в списке видел!

— Поздравляю! — Надя протянула ему свою узенькую ладошку.

Да, прибран был только центр города. Чуть от центра лежали руины. Деревья своей листвой не в силах были укрыть разрушения войны.

Свернув со Средне-Московской, Мишке и Наде пришлось перебираться через развалины. Оазисом показались два дома среди множества стен, изрешеченных пулями и осколками, зияющих дырами и пустыми проемами окон и дверей, закопченных и обожженных в огне бомбежек и артиллерийских налетов.

— Просто не представляю, как остался цел наш дом,— говорила Надя, увлекая Мишку за собой.

Спотыкаясь о глыбы железобетона, Мишка и Надя добрались до подъезда двухэтажного желтого дома; многие окна его были заткнуты подушками и ветошью. На стенах темнели выбоины — следы пуль и осколков.

Вошли в полутемный сырой подъезд. Остановились перед черной клеенчатой дверью. Надя оглянулась на Мишку, улыбнулась ему и глухо постучала. Не открывали долго. Потом за дверью послышалось шуршание. Кто-то подошел; наверное, прислушивался. Надя еще раз постучала.

— Это я, Капитолина Сидоровна! — сказала она.

— Кто? — переспросили за дверью.

— Ну я, я, Надя!

За дверью снова зашуршали. Откинули крючок вверху, потом внизу. Повернулся ключ внутреннего замка, и дверь наконец отворилась. Перед Мишкой и Надей стояла полная в ярком цветастом халате женщина. Одной рукой она держала дверь, как будто на случай, если надо будет немедленно прихлопнуть ее, другой подняла очки над низким лбом.

Надя шагнула через порог и потащила за собой Мишку.

Капитолина Сидоровна посторонилась недоуменно.

— А кто это с тобою? И незля ли потише входить?

Хозяйка так и сказала «незля», и Мишка понял: он гость нежеланный.

— Сколько раз я вам твердила: не незля, а нельзя,— сказала Надя, сняла с Мишкиного плеча баян и понесла его в глубь квартиры.

— Не тебе меня учить! Что это за ящик такой?

— Это музыкальный инструмент, Капитолина Сидоровна! — игриво и чуть с издевкой пояснила Надя. — Баян называется. — Она остановилась перед трюмо и ахнула: — Ой, да погляди, какая я? А ну-ка, ты?.. Как же мы смотрели?

Только теперь они разглядели, как запылены и грязны.

— Представляю твой видик в музучилище! — рассмеялась Надя.

Мишка молча стоял на пороге Надиной комнаты. Его удивляла перемена в Наде. Она вдруг стала говорливой и решительной.

— Ты чего не проходишь? Проходи сюда. Раздевайся. Сейчас будем мыться. Мы же с тобой как домовые!

— Так объясни мне, кто это такой.

— Сейчас вымоемся. Сядем завтракать — я вам все разъясню. Это мой спаситель. Вот кто!

— Тогда сымай, парень, баретки и проходи.

Мишка не двигался.

— Полуботинки свои сними,— сказала Надя, пряча улыбку.

Мишка снял туфли и по коврику прошел в Надину комнату.

Присел на табуретку перед трюмо, взглянув на себя — боже, одни глаза сверкали; руки и лицо — как у трубочиста. Он снова почувствовал усталость, ломило спину.

Комната вся была заставлена мебелью: столы, столики, тумбочки, стулья. На полу, вперекрест, лежали оранжевые дорожки. По углам в небольших кадках возвышались до потолка фикусы, у окна красовалась пальма.

Где-то в глубине квартиры, куда скрылась Капитолина Сидоровна, слышался голос Нади. Она уже, не дожидаясь сбора за столом, рассказала мачехе о происшествии в дороге.

Мишка оглядывал комнату и будто вернулся в свое раннее довоенное детство — в тишину, чистоту и цветы.

Капитолина Сидоровна появилась на пороге Надиной комнаты.

— Ишь ты какой! — Она принесла бинт. — А ну, покажь руку.

— Нет-нет, я сама перевяжу! — крикнула из коридора Надя. — Я сама. Сначала надо промыть!

Через час, освеженные мытьем, они сидели на кухне за большим под белой скатеркой столом и пили чай. На тарелках перед ними лежали бутерброды с колбасой, которой Мишка уже не видел года четыре, и блюдо с баранками — сухими, хрупкими баранками, про существование которых Мишка забыл.

— Больше до чаю ничего не припасла, — говорила Капитолина Сидоровна, подливая в цветные чашки чай. — У вакуации жили, так у нас все было, а возвратились сюда — хуже живем.

«Ничего себе хуже, — думал Мишка, обливаясь потом, пьянея от запахов колбасы и чая. — А как те там, в руинах?..»

— Постыдитесь жаловаться, Капитолина Сидоровна, — сказала Надя. — Поехали бы вы к бабушке да поглядели, как живут люди. Рады-радехоньки куску макухи!

— Тебе я все не так говорю. Давно знаю, — недовольно ответила Капитолина Сидоровна. — Вот возвратится отец, я...

— Жалуйтесь, жалуйтесь! — Надя подняла обе руки и закивала головой.

Потом, как школьница за партой, сидела и ждала, когда Мишка напьется чаю. После завтрака вернулись в Надину комнату. За шторой, оказывается, была дверь на стеклянную террасу, всю освещенную солнцем.

— Видишь, это нам папины рабочие пристроили! Хорошо?.. Вот тебе диван. Подушка. Можешь взять сюда баян. Как твоя рука? Будешь заниматься?

Перевязка раны вызвала боль. Но Мишка не стал говорить об этом.

— Да. Позанимаюсь... А кто твой папа?

— Начальник автоколонны... Ну я пойду уберу со стола. А то кудахтанья не оберешься.

Когда Надя вернулась на террасу, Мишка спал, уткнувшись носом в стенку дивана. Надя укрыла его старой — от родной матери осталась — шалью, которой укрывалась сама, постояла, потрогала Мишкин вихор и на цыпочках вышла с террасы, притворив дверь.

— Нет, друзья, все-таки гитара — черт знает что за инструмент! — воскликнул красный цыган. — За самое-самое берет! Ей-богу!

— Ты прав, Эдик! — воскликнула его жена — женщина с шарфиком. — Сколько самых дорогих воспоминаний под эту чертову гитару. Как это?.. «И каждый думал о своем — о чем-то дорогом». Точно. Посмотрите друг на друга. Давайте пригубим! Ты прав, Эдик! За Надю!.. «Нехотя вспомнишь и время былое...» Эх, знаете, пела и я когда-то... Да и сейчас иногда... подведем баланс — и с девчонками... Вы думаете, счетные работники — сухари черствые?..

Проснувшись, Мишка с трудом вспомнил, где он. Огляделся. Встал, прикрыл плотнее дверь террасы, вынул из футляра баян и начал готовиться к завтрашнему дню. Играл гаммы, этюды, народные русские песни, которые разучивал для экзаменов. Ныла раненая рука, но он играл до вечера, пока к нему не вошла Капитолина Сидоровна.

— Эт ты всегда так? — спросила она. — Каждый день?

— Что? — не понял Мишка.

— Каждый день, говорю, так много пиликаешь?

— Да, Капитолина Сидоровна. Играть надо помногу. Иначе пальцы ходить не будут.

— Гм... Да ты и сам с ума сойдешь. И рядом кто с тобой — чокнется от столькой музыки. Ей-богу!.. Я в доме, где-то аж у своей спальне, и то голова разболелась.

Мишка смущенно снял с плеча ремень и осторожно уложил раненую руку на мехи баяна.

Капитолина Сидоровна ушла. Он все же еще немного поиграл. Снова прилег на диван. И тут же уснул.

Спал и чувствовал — на него смотрят. Проснулся — так и есть. На диване, рядом с ним, сидела Надя, запахнутая в материну шаль.

— А я уж давно возле тебя. Выспался?.. Ты так сладко спал, мы тебя не стали будить. Я все-все отцу рассказала. Он зашел сюда, поглядел на тебя сонного и ушел. И знаешь, ты понравился ему. Вот!.. — От волнения она встала и заходила по террасе. — Папа уехал в командировку. Приедет — я тебя с ним познакомлю. Он сказал мачехе, чтоб ты у нас жил, пока будешь сдавать экзамены. Понял?.. Есть хочешь? — Она пододвинула табуретку с двумя тарелками на ней и с чашкой. — Бери вот мясо, картошку и хлеб. А вот чай. Вишь, я накрыла, чтоб не остывал. Ешь давай!..

Мишка слушал Надю и не верил, что все так сложилось. Все волнения матери перед отъездом были как раз о том, где ему быть в дни экзаменов. Он мысленно увидел мать — босую, ноги в глине, с подоткнутой юбкой.

Он сел и принялся за еду. Странно было то, что он не стеснялся Нади, как будто он был знаком с ней уже много-много лет. Странно было и то, что она так свободно с ним себя вела. Ему было даже забавно, как она заботится о нем, чем-то напоминая мать.

Вот и сейчас она, словно мать, сидела и смотрела, как Мишка уплетал хлеб с мясом.

— Слушай, Миш! А ты — только честно — напугался в вагоне? А? Как ты пошел на нож!.. Мне и сейчас страшно, ужас!..

— Честно, — ответил он. — Напугался. Только уже потом... когда Фиксатого не было...

— Как это?

— А так. Представил все. Как Фиксатый собьет меня. Всадит нож тебе... Или уволокет, или выбросит баян... А ты знаешь, что для меня значит баян... Вдруг бы промазал им, когда хотел ударить Фиксатого, и разбил бы к черту... Ты понимаешь, что это?.. Знаешь, как я дожидался его?.. Но это я все потом представлял. У меня всегда так. Продумываю потом...

— А как ты дожидался, расскажи. Ну, пожалуйста. Я слушаю внимательно-внимательно.

— Потом как-нибудь.

— Нет, не потом. Прошу тебя, Ми-и-иша! — Надя пододвинулась еще ближе и положила руку ему на колено; брови ее приподнялись, большие глаза уставились в него. — Я немедленно все-все хочу знать.

— Ты так просишь, будто от этого шут знает что зависит.

— Да! Зависит! — почти прокричала Надя. — Зависит!

— Просто мне все-таки здорово повезло, — сказал Мишка и замолчал, задумавшись.

— Ну, так расскажи!.. А ты всегда мечтал стать баянистом?

— Нет, мне хочется по-настоящему играть на пианино. — Мишка тяжело вздохнул. — Но где же нам взять было такие деньги, чтоб купить пианино? Если бы мы продали все-все, что у нас было и есть, все равно не хватило б... Да и учиться надо было начинать с четырех-пяти лет. А я только в десять узнал, что есть такой инструмент... Но все-таки, если поступлю, буду одновременно учиться и на пианино.

— Конечно, поступишь! — вскрикнула Надя нетерпеливо. — Почему это ты не поступишь?.. Ну, а как тебе повезло? Расскажи!

— В общем, так. Долго мне до сегодняшнего дня плутать пришлось. Не смейся только. Знаешь, где я учился? Даже в птицетехникуме. Да. Учился на лучшем отделении — технологическом. Я же поступал как отличник. Понимаешь, в седьмом классе надо было решать, какую профессию выбрать. У матери я один. Она делала для меня все.

Выдыхалась. А я не знаю, как будет завтра. Шла ведь еще война. Придется ли учиться после десятилетки? Или нет? А специальности никакой. Решил приобретать специальность... В городе нашем есть медшкола, птицетехникум и педучилище. Куда идти? Маме наговорили: станет техноруком на птицефабрике — все у вас будет, все в ваших руках. Я-то махнул бы в музыкальное. Но... Вот эти «но». Баяна нет!..

И пошел я в «птишню» — так у нас называют птицетехникум. Курочунами дразнили нас соседи из педучилища. Начал учиться, понял: не то, не для меня. Бежать? Куда? Куда побежишь в середине года? Кое-как тянул на тройки. А разве б я был троечником в музучилище?.. Нет, нужен баян!.. И стал я подумывать, как купить баян. На баяне я уже играл, и довольно прилично. У меня дружок был с баяном, Степан Божко. Так я дневал и ночевал у него. Ну вот... Начал я искать баян. В магазинах их не было и нет. Нашел один в Чернышовке — село есть такое. Километрах в восьми от нашего города. Баян не ахти. А хозяин просит за него восемь тысяч. И ни капли меньше. Как чует, нужен мне позарез инструмент. Где столько денег взять?.. И тогда мама продает скатерть — она купила ее в молодости еще, когда замуж за отца собиралась, специально в Ленинград ездила на заработки. Продает атласный отрез — отец перед войной из Минска привез на одеяло. Продает платье свои... В общем, все-все, что берегла как память про свою молодость, про отца... Все продала. Осталась — в чем ходила в будни... Да еще в долг залезла. Три тыщи пришлось занять... И мы отправились за баяном. Отвалили восемь тысяч. Ни копейки не уступил куркуль чернышовский... Никогда не забуду тот день! На обратном пути ударил дождь. Да такой — с громом, с молнией! Шли босиком. Промокли до нитки. Несли баян по очереди. Скользко. Раза два я падал... Но не было людей счастливее нас в тот день!..

Кое-как заканчивал я первый курс птицетехникума. Есть баян — значит, надо ехать в музыкальное! Но... Опять «но»...

Подумал-подумал я — нельзя ехать. Как же я брошу мать в чужой квартире? Что она сможет одна?.. Своей халупы у нас не было. Наш дом разбил немецкой бомбой. Пять лет уже мы шатались по частным квартирам. А ты знаешь, что это значит? Не там сед, не там встал. Не там прошел. Вечно ты виноват, а хозяин прав... Вот и думай тут!..

А тем временем нам с матерью выделили усадьбу. И стал я баяном зарабатывать на хату. Меня приглашали играть на свадьбы, на дни рождения, а всяческие праздники. И я играл, а играл я — не сочти за хвастовство — всегда честно, не подводил компаний. Играл за деньги. Играл за просо, за кукурузу, за макуху — жрать ведь нечего. Играл за доски — пригодятся на хату. Играл за бревна. За то, чтобы привезти песку или глины; за то, чтобы дали лошадей с повозкой на день: привезти камыш из Морозовки — нужно на стены, на крышу... Черт знает, за что я только не играл! А ты знаешь, что значит играть

в компании, да еще пьяной?.. Я играл сутками напролет. Уже на ногах не стоишь, а им давай «Барыню»! Уже руки баян не держат, а им песняка давай!.. На улице мороз за тридцать, пальцы коченеют на ледяных клавишах — а ты играй, так-пертак!.. Передохнуть я мог только в двух случаях: либо надо выпить-закусить,— тут баянисту первая чарка! Либо перекур устраивать!..

— И ты пил и курил? — Надя подалась к Мишке.

— И пил. И курил, — вздохнул он. — Все было... В конце концов начали строить хату. Поднарядил я одного старика — соседа. Мать из кожи лезла. И кое-как поставили мы камышовую халупу в три окна. Не сразу, конечно. Когда поднакопилось материалу — целое лето провозились.

Тут узнал я, что в педучилище преподают музыку. Учат играть на скрипке. И перешел туда. На второй курс. Правда, поморщился директор — у меня же одни тройки за первый курс «птишны». Но принял. Мужиков-то в училище и до сих пор раз-два — и обчелся.

И вот нынешней весной кое-как влезли мы в свою хату. И тогда я пошел к директору педучилища — давайте мне, говорю, документы, хочу уходить. «Как уходить? Какие документы? До сессии полмесяца. Предпоследний курс... Ты без пяти минут выпускник! Ты что, рехнулся?» — кричит он на меня. А я ему свое: «Не буду сдавать экзамены. Мне это не нужно. Я еду в музыкальное». «Ты и так хорошо играешь,— говорит директор.— руководишь нашим оркестром. Выступаешь по радио, на концертах. Чего тебе еще надо?» «Хочу быть настоящим музыкантом», — отвечаю.

Поругались мы. И все же документы я забрал. Главное, мне нужна была справка об окончании семилетки — там же все пятерки. Стало быть, мне не сдавать экзамены по общеобразовательным. Только по музыке.

Весну и лето готовил я программу. И опять же закончил отделку хаты. Наличники на окна сделал. Покрасил все. Погреб вырыл. Сгондобил сарайчик. Вот и все.

Мишка умолк. И долго молчал. Надя тоже сидела молча.

— Скоро рассвет,— тихо сказал он.— Иди-ка ты спать.

Она будто не слышала его.

— Миш, ты никому не скажешь? — зашептала вдруг.

— Про что? — спросил он тоже шепотом.

— А вот про что... Закрой глаза.

Она наклонилась к нему, обхватила руками за шею и крепко прижалась губами к его щеке.

Мишке показалось — его бросили на раскаленные угли. Когда он открыл глаза, Нади на террасе не было.

*«Снился мне сад в подвечном уборе, в этом саду мы сидели вдвоем. Звезды на небе, звезды на море, звезды в сердце моем...»*

Экзамены Мишке показались шуткой. Ничего серьезного, на его взгляд, не происходило. Всех поступающих вызывали по одному в классы. Невольно он отмечал только то, что после каждого вызова становилось все меньше людей в коридоре. Мишка удивлялся, как это не сумеет выстучать карандашом заданный ритм, как не назвать взятые пианистом ноты, не спеть их. Но многие этого не могли сделать. Их тут же отчисляли, не допуская к дальнейшим экзаменам.

Мишка все сдал хорошо. Когда он играл песню «Меж крутых бережков» и старательно выбирал басовую партию (как раз раненой рукой), в класс вошла высокая, в длинном платье, величественная женщина с пышной седой прической и густыми черными бровями. Она оперлась на фортепьяно, будто собралась петь, прослушала Мишку и спросила:

— Вы откуда, молодой человек?

Мишка назвал свой город.

— Николай Ксенофонтович, — обратилась она к экзаменатору. — Вы не заметили? Каждый год к нам с юга области приезжают вот такие талантливые ребята. Помните Зою Саенко? Тоже баянистка?.. — Снова повернулась к Мишке: — Поздравляю вас. Вам ведь больше ничего не сдавать...

— А можно мне, — осмелел Мишка, — можно, кроме баяна, и на пианино заниматься?

— Занятия по фортепьяно у вас будут обязательно. Но ежели вы хотите заниматься больше — ради бога. Скажите, каков, а?

Из двадцати семи человек, поступавших по классу баяна, принято было трое. Один слепой с абсолютным слухом. Другой — инвалид войны. Третий — Мишка.

Он не мог опомниться — так все оказалось просто. Первая его мысль была — дать домой телеграмму. «Нет, приеду и все расскажу», — решил он.

Во дворе Мишка присел на скамейке у ворот. Как-то не верилось: все так просто. Присев, он понял: все-таки волновался. И от самих экзаменов. И от разговора с экзаменаторами. И от всего, что происходило на его глазах все это утро.

Из училища вышел парень в солдатской гимнастерке. На широком раздвоенном подбородке — синеватый шрам. На носу тоже шрам. Парень курил, глубоко затягиваясь. Поравнялся с Мишкой, спросил: — Приняли?

Мишка счастливо кивнул.

— А я сгорел... Рука не годится. — Он отвел от себя правую руку и посмотрел на нее, как на чужую, ненужную. — Кисть плохо работает... Ранение... Нет, сказали, Девуцын, фортепьяно вам, голубок, заказано! Легко им говорить, а мне... Я в окопах бредил музыкой...

Он швырнул окурок к ограде. Притоптал его носком кирзового сапога.



Мишка торопливо натянул манжет рубашки до половины ладони раненой руки, чтобы не видна была повязка. «А если б Фиксатый рванул сильнее... И я бы тоже не сдал экзамены...»

Мишка похолодел. Встал смущенно. Что сказать?

Парень достал из кармана галифе папиросу и опять закурил.

— А тебя приняли? Да?

Мишка кивнул, пошел со двора, не оглядываясь. Пошел быстрее. Потом почти побежал от чужой боли. Ему хотелось кричать встречным о своей радости. Он вдруг подумал: единственный человек в городе, кому он может сказать о ней, — это Надя.

Он не чуял под собой земли. Баян казался ему невесомым, как в день покупки. Небо светилось голубизной. Встречные улыбались Мишке и даже оглядывались на него.

А липы вдоль тротуара бросали Мишке под ноги первые свои золотые листья.

Надя на пороге, при мачехе, обняла его и запрыгала в восторге.

— Я ни капельки не сомневалась! Поздравляю! За стол!

Она пробежала в свою комнату.

— Будем пировать здесь! А не на кухне!

Она достала из-за трюмо бумажный сверток, развернула его и поставила на стол бутылку кагора.

— Это папин подарок нам! — сказала Надя удивленной Капитолине Сидоровне. — Да, папа сказал: сдаст Михаил экзамены — купи бутылку вина и отпразднуйте все. Вот!

После выпитой рюмки Надя раскраснелась.

— Миш, ты умеешь из «Первой перчатки»? Помнишь?

Мишка взял баян, прошелся по клавишам, вспоминая знакомую мелодию. Надя пробовала подпевать.

— Нет, надо чуть-чуть выше.

Мишка взял выше. И Надя запела. Запела взволнованно, неожиданно чистым-чистым голосом.

*«Милый друг, наконец-то мы вместе. Ты плыви, наша лодка, плыви...»*

Видя, что Мишка удивлен, она вскинула радостно брови — да, вот так я умею петь, и мне хорошо петь с тобой.

*«Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви...»*

Она пела, будто говорила ему — да, это мне хочется и песни и любви. Ты понимаешь? Он глядел на нее, и в его сердце — он это впервые ясно чувствовал! — жили и песня и любовь.

— А хочешь, спою тебе еще? Пела одну песню эвакуированная, в Сибири. Мужа у нее убило под Ленинградом... Она та-ак пела! Если б ты слышал!.. Я, конечно, не так... Ну давай. В этой же тональности.

Надя встала возле Мишки. Повернулась к окну. И вдруг издалека-далёка, еле слышно, донеслись щемящие звуки. Они нарастали. Они сливались в мелодию той, безымянной, бесконечной в своей просторности русской песни, в которой, боже мой, и слов-то почти нет, а как же она берет за душу!..

*«Ой, взлета-а-ала... Ой, лета-а-ла го-орлинка-а-а да рядом с я-а-ас-ным со-о-околом...»*

Вскинув голову, Надя вела причудливую мелодию, по-прежнему глядя за окно и, может быть, видя и заснеженную Сибирь и ту обездоленную женщину. И Мишке показалось, что он раньше уже где-то слышал эту песню и что она живет в нем; что он знал ту женщину, которая пела ее, — женщина была похожа и на мать его, и на соседку тетку Химку, и на многих женщин военной поры.

Одними аккордами поддерживал Мишка пение — не по-девичьи вдумчивое и сердечное.

*«Ой, да попал сокол в бурю че-о-орную-у-у да полома-а-ала буря крылья соко-о-олинья-а-а...»*

На пронзительно-звонящей высоте оборвала Надя песню и опустилась на стул. С минуту молчала. Потом сказала, как выкрикнула:

— Хорошая, правда?

Пригубила вина и уже тихо спросила:

— Примут меня в музыкальное?

— Думаю, да, — уверенно ответил Мишка. — С таким голосом и слухом... А кроме... ты так переживаешь...

— Все! — Надя решительно встала. — Через два года кончаю десятый — и в музыкальное!

— Слепой сказал — посмотрим, — отозвалась мачеха.

— Только музыкальное, — твердо сказала Надя.

К вечеру они вышли погулять. Прошли до Петровского сквера. Спустились вниз к реке. Под старой, разлапистой вербой, выброшенная на берег, лежала вверх дном лодка. Они уселись на нее.

— Ты очень хороший, Миш, — сказала Надя. — И я тебя поцелую.

— Тогда я тебя поцелую дважды. За тот раз. Ладно? — перешел на шепот Мишка, удивляясь тому, что он сказал.

— За какой за тот? Никакого раза не было.

Мишка повернулся к Наде и увидел — у самых своих глаз — на мочке ее уха родинку и прижался губами к ней.

— Не целуй ее. Ты меня огулашаешь. — Надя шептала, запрокинув голову. — Ты счастлив?

Он кивнул.

— И я. И за тебя. И за себя.

Вскочила.

— Ой, я не знала, что люблю целоваться. Только, чур, ты никому про это. Ладно?

Они гуляли до поздней ночи. Несколько раз Надя приостанавливала Мишку и говорила:

— Мне так хорошо. Но почему-то и грустно. Почему?

Мишка пожимал плечами.

За рекой, далеко над лесом, взошла луна. В ее свете руины города казались сказочными замками.

— А вы сами поете, Миша? — спросила хозяйка стола.

— Немножко когда-то пел.

— Наверное, украинские песни? Спойте.

— Да, спойте украинское, — присоединилась к просьбе и Надежда.

Михаил Сергеевич давно так не пел.

*«Дывлюсь я на небо тай думку гадаю, чому ж я не сокил, чому не летаю? Чому мені, боже, ты крылець не дав? Я б землю покинув, та й в небо злітав!..»*

Нет, землю не покинешь.

Утром следующего дня Мишке в училище та самая величественная женщина, которая вчера расхваливала его, сказала, что училище своим ученикам не предоставляет общежития. Училище помогает инвалидам войны оплачивать квартиры. А таким, как Мишка, оно помогать не может. Стипендия сто шестьдесят рублей — и все.

Мишка сначала не понял суть сказанного. Нет общежития — он снимет комнату. Он не будет медлить.

Мишка отправился на поиски квартиры. В ближайших домах, возле училища, оказалось, либо уже жили такие же, как он, учащиеся, либо не сдавались квартиры. Мишке отвечали: нет; или: самим тесно.

Чем шире становился круг поисков, тем чаще Мишка спускался в подвалы.

В одном подвале встретила его женщина. У ног ее ползала девочка с испачканными свеклой щеками.

— Да, угол можем сдать, — сказала хозяйка. — Нам нужны денежки с энтой кралей.

Она взяла девочку на руки и хотела было подбросить над собой. Да вовремя спохватилась. Иначе девочка стукнулась бы о сводчатый потолок. Мишку проколола насквозь мысль о том, как больно бы девочка ударилась.

— Никак не привыкну. Проклятый висит над темем, — ругнулась хозяйка, потом сказала Мишке: — Вот там, за ширмой, устроит тебя? Сто пятьдесят рублей цена.

Мишка сделал три шага к окну. На широком подоконнике была постлана тряпка. Поверх лежала какая-то кацавейка.

— Тут моя кралечка глядит на улицу, — подала голос хозяйка. В окне мелькали ноги.

— У нас с ей игра есть. Узнавать по ногам, кто прошел. Да, Лиленька? Знаешь, дорогой, сколько ног проходит? И в сапогах, и в туфельках-лодочках, я до войны такие износила — одну пару, и в галошах и босых — о, сколько их, босых!.. Всякие ноги. И по ним человека видишь! Во!..

Словно снега бросили за шиворот Мишке. «Боже мой,— подумал он сокрушенно.— Глядеть на свет дня и видеть одни ноги. Изю дня в день...»

Вправо от окна стояла койка. За ней — раскладушка. Их разделяла ширма — старое солдатское одеяло. По краям оно было растрепано, бахрома походила на вермишель.

— На раскладушке спит кралечка. За ней можно еще одну койку поставить. Под стеной места хватит,— пояснила хозяйка.— А хошь, ты поближе ко мне?

Мишка взглянул вдоль серой сырой стены. «Рядом с ней?» Он посмотрел на хозяйку. Свет падал ему на лицо, и она уловила его недоумение.

— Что? Не нравится?.. Ой, да ты молоденький... Какая нужда в город-то пригнала?

— Учиться музыке,— тихо ответил Мишка.

— На чем же ты музыканишь?

— На баяне.

— О-о,— протянула хозяйка, покачивая на руках дочку.— Что ж ты, и тут будешь играть?

— А как же?

— Ну, милый! Тогда мы не сойдемся. Мне, знаешь, хватает вот этой музыканши.

Она ребром ладони вытерла нос девочке.

— И денег твоих не надобно!

Мишка выбрался из подвала и облегченно вздохнул.

В подвалы он больше не заходил. Квартир в уцелевших и полуразрушенных домах не попадалось. Лишь на окраине, на спуске к реке, он нашел уютный — в садике — домик. В нем жила старуха, подслеповатая, согбенная годами. Она согласилась сдать Мишке маленькую отдельную комнату.

— Я с тебя, сынок, дорого не возьму. Другие берут по полтора, а мне — сотню заплатишь и довольно,— говорила старуха, пристально разглядывая постояльца.

«Шестьдесят рублей останется на еду»,— радостно подумал Мишка.

А старуха, глядя вприщурку, продолжала:

— Токо еще уголька али дровец добывал бы... И играй себе на здоровье! Играй, я все одно туга на ухо.

— Где ж я добуду дров да угля? — прокричал Мишка, наклонившись над старухой.

— Уж где добудешь,— развела руками старая, как будто показывая простор для Мишкиных возможностей.

К вечеру Мишка не чуял ног. И к вечеру же понял, что ему оставаться на учебу, о которой он столько мечтал иступленно, к которой всю свою жизнь стремился, невозможно. Простой расчет сделал он неожиданно для себя. Стипендия — сто шестьдесят рублей. Если даже он найдет квартиру, в которой согласятся терпеть его ежедневную игру на баяне, он должен уплатить хозяевам не менее ста тридцати — ста пятидесяти рублей. Как же ему жить от стипендии до стипендии? Как жить?.. От матери он ждать ничего не мог. Где она, школьная техничка, добудет ему помощь? Она там сама будет и холодать и голодать. Ей там самой дай бог стянуться на свои нужды!.. Нет, больше ни копейки не возьмет он у нее!..

А если квартира возле училища, то еще дороже. Хозяева понимали выгодность их жилья...

Так что же делать?

Мишку охватило отчаяние. Значит, выхода нет. Значит, надо отступить тогда, когда уже все, казалось, было преодолено. Нет, никуда ему из дома не уехать. Единственное, что для него,— кончать педучилище. Он представил лицо директора — бровастое, в оспинах, победно усмехающееся: «А что я тебе говорил?..»

Мишка шел, не ведая куда. Среди пустынных развалин присел на груды бетона с торчащими железными прутьями. Так что же делать? Ходить на вокзал разгружать вагоны? Мишка слышал о таких студенческих заработках. Но это... сегодня взяла на разгрузку, а завтра — разгружать нечего. А от стипендии в кармане ни копейки... Зарабатывать бы игрой, как дома. Но для кого же здесь играть? Люди живут под землей, им не до веселья...

Мишка долго кружил по развалинам. Наконец очутился у Кольцовского сквера. От него он помнил дорогу к Наде. Что он ей скажет? Если бы баян был с ним, он пошел бы на вокзал.

— Куда ты пропал? — Надя встретила Мишку возле дома.

Мишка молчал. С трудом держался, чтобы не заплакать.

— Что случилось? — тормошила она его.

Вошли в дом. На террасе Мишка сдавленно рассказал ей все.

— Ничего не остается, как уехать,— выдохнул он.

— Погоди ты — уехать!.. Погоди! — Надя ломала пальцы и нервно ходила по террасе.— Погоди!.. Знаешь что? — она решительно повысила голос.— Ты будешь жить у нас! Да, у нас. У нас же три комнаты. В одной — будут отец с н е й. И по одной — нам с тобой. А?

Надя выскочила с террасы. Какое-то время в квартире было тихо. Потом до Мишки стали долетать голоса Нади и Капитолины Сидоровны.

— Ты не своевольничай! — кричала Капитолина Сидоровна.— Тута я хозяйка, а не ты!

— Я знаю, что отец бы согласился! — отвечала Надя. — Он ведь на нож шел за меня. Поймите же. Он хороший!

— Мы его и приютили. Но всегда жить у нас...

— Да это ж недолго... Всегда... Будут же отстраивать дома. И дадут ему общежитие. Это ж год, может, всего! У нас же комната пустует!..

— Ничего себе — год! — кричала Капитолина Сидоровна. — Год!.. С ума сойдешь от пиликанья.

— Да что вы говорите такое? — кричала Надя.

Капитолина Сидоровна не слушала ее.

— А что он будет есть? Кто его будет обстирывать?

— Еды у нас полно! Как вам не стыдно! А стирать... я ему буду стирать! Я! Я люблю его! Я выйду за него замуж!

— Что-о-о? — заорала Капитолина Сидоровна. — Что ты мелешь?

— Да! Да! Да! То, что вы слышали!

— Видали ее! В шестнадцать лет замуж! Отец возвратится... Я тебе дам замуж!.. Мне и вас хватает. Да еще примак тут!..

Мишка бросился в квартиру. В коридоре, закрыв лицо руками и упершись лбом в стену, стояла Надя. Поднятые плечи ее вздрагивали. А в дальней комнате, посредине, высилась Капитолина Сидоровна, в своем цветастом халате, с засученными рукавами. Повернувшись вполборота к Наде, подбоченясь, она выглядела неприступной и непреклонной.

— Мы тебя как человека... — перекинулась она на Мишку. — А ты девочку с пути сбиваешь.

— Не смейте так, — закричала Надя, отпрянув от стены, — не он — вы сбиваете! Вам все мало! Мало! Вы всю войну хапали! Люди воевали, а вы... Иди работай! С пятого класса гоните... А я буду учиться! Понятно вам?.. Бойтесь все — кто-то объест вас!..

— Ну, не надо ссоры, — взял ее Мишка за плечи. — Или я немедленно уйду.

— Никуда ты не уйдешь ночью! — еще громче закричала Надя. — Она бы всех разогнала.

На террасе Надя понемногу стала успокаиваться.

— Как же так? — всхлипывала сокрушенно. — Завтра еще пощем. Как же... Столько вытерпеть... Ну, ведь правда, ты же мог бы жить у нас. Три комнаты. Люди, видел, как живут? А у нас же все есть. Отец же все добывает. Ему можно!.. Только и он в ее дуду!..

Она упала на диван. Закрыла лицо руками.

— Ладно, успокойся, — ласково говорил Мишка. — Успокойся, хорошая, добрая Надя. Надежда. Надеждинка...

Она поднялась, вытирая мокрые щеки.

— На-деж-дин-ка, — произнесла по слогам. — Меня никто так не называл... Что ты будешь делать?

— Уеду завтра... заканчивать педучилище.

— Я буду узнавать... Будет общежитие — ты приедешь,— встрепулась Надя.— Приедешь? Я буду узнавать... И потом я тоже пойду в училище. Приедешь?..

— Приеду,— шептал Мишка, но не верил в это.

Вот закончится война...

Утром Надя обежала своих подруг. Ни у одной ничего не добила. Свободных углов или квартир никто не знал.

В канцелярии Мишку встретила та же величественная женщина, точно так же, как директор педучилища, она удивленно спросила:

— Как это забрать документы?

— Мне негде жить,— мрачно сказал Мишка.

— Это... товарищ...— Директриса поднялась над столом; она, видимо, хотела назвать Мишку по фамилии, но забыла ее и отвела взгляд в сторону.— С жильем мы, вероятно, кое-как помогли бы вам все-таки... со временем...

Она пошла было Мишке навстречу, потом вернулась к столу, взяла каку-то бумагу. Глядя на нее, тихо сказала:

— Хуже другое, дорогой Кобзарь... Телеграмма вам...

Директриса протянула бумагу Мишке.

— Кто у вас дома, кроме мамы?

— Никого,— машинально ответил Мишка, не понимая, зачем с ним говорят об этом. Он пробежал глазами телеграмму и тоже ничего не понял — так далек он был от того, что произошло дома.

«Мать подорвалась на mine. Ефимия Карповна».

«Ефим... Карповна... Какой Ефим? — думал растерянно Мишка.— А-а, соседка, тетка Химка!.. При чем она тут? Почему на mine?..»

Мишка не помнил, как вышел из кабинета в темный коридор. Директриса шла рядом, положив руку на его плечо.

— Тут уж мы ничего... Держитесь, милый. Если с мамой благополучно... приезжайте...

«...подорвалась на mine».

Может, ошибка? Может, телеграмма не ему?..

Выйдя из училища, Мишка остановился у ворот, где вчера стоял искалеченный солдат, и посмотрел на бумаги в руках. Справки. Об окончании семилетки. О сдаче приемных экзаменов. Пятерки в обеих. И вот с ними, с пятерками, он вынужден оставить училище — этот дом, этот двор, где звучит музыка, — то, чем он жил столько, сколько помнил себя. Еще несколько минут назад отъезд должен был ошеломить, унижить, убить его. Еще несколько минут назад Мишка,

хотя и пришел за документами, колебался — уезжать или нет. Он готов был еще и еще искать жилье и верил, что нашел бы; потом он все равно смог бы и подзарабатывать.

Но сейчас все это уже не имело для него того значения, которое имело несколько минут назад. Телеграмма, которую он вместе со справками держал в руках, непонятная, всей душой не принимаемая телеграмма, сразу же отодвинула, сделала ничего не значащим все то, что долгие годы было смыслом его жизни. Он знал, что должен немедленно и — чувствовал — навсегда уехать отсюда.

Мишка мысленно увидел вчерашнего солдата-калеку. По-разному война сделала одно и то же жестокое дело — и для того солдата и для него, Мишки.

Вот закончится война...

«Мать подорвалась на mine...»

Мишка шел по разрушенному городу. Мишка думал обо всем том, что он потерял за свою короткую жизнь, за свои семнадцать лет. Война лишила его отца. Лишила друзей, тех, с которыми бегал босиком по одной улице, с которыми сидел за одной партией. Война убила в нем детство, преждевременно состарила его. Она отняла у него музыку, то, что было его радостью и надеждой на счастье. И, наконец, — мало ей всего этого! — она отнимает мать...

Вот закончится война...

Война кончилась.

Кончилась ли?.. Нет, она еще бьет по самому сердцу. Она убивает живое. Все кругом в руинах. И они, эти руины, останутся на земле до тех пор, пока будет жива человеческая память.

«Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать».

Прав Лев Толстой! О, как трагически он прав!..

Мишка вышел к Петровскому скверу.

Было безлюдно. Посредине — без фигуры великого царя — торчал постамент. Блестели на нем жестяные буквы «Петр I». У подножия сиротливо лежал якорь с цепью.

Мишка шел по проспекту Революции. Руины города предстали руинами, а не сказочными замками.

Сказки не было.

Была обнаженная жестокая явь. Был разрушенный и оскверненный человеческий труд. И кем же? Самим человеком! Тем, который надменно кичится собою как высшим созданием природы!..

Из-за управления железной дороги на проспект вышла колонна пленных немцев. Их вели на работу — растаскивать руины, те,



которые они усердно оставляли за собой по всей Европе. Немцы шли и пели; один длинный, со сбитой на ухо пилоткой, играл на губной гармошке. Пели что-то маршевое. Немцы — большие любители маршей. Мишка это знал.

Впереди них и позади шли наши автоматчики.

«Если бы однажды провалилась европейская цивилизация, я пожалел бы только об одном — о музыке...» Кажется, тоже Толстой. Что же тогда — ржавый визг немецкой губной гармошки? Новое слово в европейской музыке?..

Насупившись, до боли сжав зубы, глядел Мишка на колонну. Эти немцы где-то здесь ж и л и, в городе, занимали какое-то оставшееся в целости помещение; их только что к о р м и л и ... А он...

Мишка остановился. Он не мог идти рядом с колонной, эдак невинно поющей под губную гармошку...

Теперь там восстановлены дома, построены новые. По проспектам и улицам, во дворах домов растут липы и каштаны; разбиты парки и скверы. Бронзовый Петр Первый стоит на постаменте. Как будто не было разрушений, убийств, крови.

Но на этих местах погребены сотни тысяч людей, сотни тысяч судеб. Руин нет — руины есть. И вечно будут руины человеческих сердец.

Можно поднять из руин жилища и сады. Можно все перестроить. Но как изменить прожитую жизнь?..

Нади не было дома. Мишка поблагодарил Капитолину Сидоровну за приют. Попросил ни в чем не винить Надю.

На вокзале стоял эшелон — ехали демобилизованные. В вагонах раскрыты двери; состав увешан портретами Сталина, плакатами, ветками зелени. Мишка смотрел на смеющихся, поющих, пьющих солдат и плохо соображал, что же с ним произошло.

Он подошел к глухой стене какого-то ларька. Сел на футляр. Сидел, облокотившись на колени, обхватив руками голову. За эшелонном маневрушка таскала вагоны, колеса постукивали на стыках.

Сразу после освобождения городка от фашистских войск Мишка с ребятами катался на лыжах в Песках. Наткнулись на кем-то оставленную без предохранителя итальянскую гранату — такую красную баночку. Старушки подбирали их — приспособить вместо лампадки. Старухам отрывало руки, выбивало глаза.

Оставленная граната лежала на лыжне. Кто-то мог подорваться на ней. Надо было взорвать ее. Били снежками, били камнями — не взрывалась.

Тогда Мишка предупредил ребят, чтобы ничего не бросали. Сам подбежал к гранате, схватил ее и, едва размахнувшись, едва она вылетела у него из ладони — все это произошло в две-три секунды,—

граната разорвалась. Мишка упал на колени оглушенный. Руку отбросило назад. И надо же тому быть! Взрывная волна и все осколки ушли от него, ушли в противоположную сторону. Перед Мишкой метрах в полутора темнело на снегу овальное пятно от взрыва. Звенело в ушах. Кисло было во рту. Но не один — даже самый крохотный — осколок не коснулся его.

— Ну, Кобзарик, кто-то молится за тебя, — сказал Мишке школьный друг Илько Тютюник.

Мишка знал — молилась мать.

«Что с ней сейчас?.. Зачем я тогда остался на земле? — вдруг подумал Мишка, вслушиваясь в стук колес маневрового паровоза. Стук звучал все явственней... — Зачем теперь жить?..»

— Ты чего, парень, голову повесил? — На плечо кто-то положил руку. — Отстал от поезда, что ли?

Мишка откинулся к стене ларька. Над Мишкой склонился пожилой солдат. Без пилотки, пушистые усы, руки крепкие, узластые, с закопченными махрой пальцами.

— Отстал, — сказал Мишка. И подумал: «Так отстал, что уже не догнать...»

— Куда тебе надо? — солдат присел перед ним на корточки. — Не кручинься. Куда ехать-то?

— Домой, — Мишка поднял глаза.

— Ох, как ты смахиваешь на моего братюньку. С сорок первого не видел его... Так где дом-то?

— В Россоши.

— Это ж нам по пути. А ну, айда со мной!

Солдат крепко взял Мишку за плечи, поднял, накинул себе на руку ремень футляра. — Никак гармонь?

«Я выйду за него замуж!» Это, конечно... — думал Мишка, шагая за солдатом. — Но как она хотела, чтобы я жил у них...»

Пересекли свободные пути. Подошли к раскрытому вагону.

— Хлопцы! Братюньку нашел! — закричал солдат. — Принимай! Мишка и глазом не успел моргнуть, как очутился в вагоне, среди сидевших на растолоченном сене солдат.

— Сейчас он нам рванет че-нибудь!

Солдат открыл футляр, вынул баян и протянул его Мишке.

— Ну-ка, брат!..

Мишка обвел взглядом притихших солдат — сколько он видел их вот так, на концертах в клубах, в госпиталях, — и ударил по самому больному:

*«Давно я не видел подружку, дорогу к родимым местам. Налей же в железную кружку свои боевые сто грамм! Гитару возьми, струну подтяни, солдатскую песню запой! И камень родной омоем слезой, когда мы вернемся домой...»*

Мишкин голос металлически звенел. Солдаты подхватили припев. Один развязал вещмешок, достал из него бутылку, к нему потянулись руки со стаканами, кружками, банками, крышками от котелков.

— Эх, мать честная!..

— Ну, и братишку ты нашел!

*«И камень родной омоем слезой, когда мы вернемся домой...»*

— Ми-и-ша-а! Ми-и-ша! — послышалось близко.

Мишка оборвал песню. Бросил баян на сено. Кинулся к двери. Внизу у вагона стояла Надя.

— Хорошо... что ты... — она не могла отдышаться, — что ты играл. А то бы я и не нашла. Уезжаешь? — у нее скривились губы. — Уезжаешь, значит? На вот тебе! — она протянула газетный сверток. — На дорогу... А может, подождать надо?

Мишка передал сверток солдатам и спрыгнул к Наде.

— Бери девку с собой! — крикнул кто-то из солдат. — С такой не пропадешь!

Мишка ничего не слышал. Он глядел на Надю, на ее заплаканное лицо.

— Ты приедешь? Приедешь? — ее глаза ждали ответа. — Я люблю тебя!..

Лязгнули буфера.

— Давай, хлопец. Поехали!

Надя шагнула к нему.

— Я буду ждать тебя!

— Спасибо!.. Спасибо за все! — крикнул Мишка и побежал за покотившимся вагоном. Солдаты подхватили Мишку.

Надя одна стояла между рельсов — тоненькая, в синем платье-клет, раздуваемом ветром от движения поезда.

— Ты чего ж? Брал бы ее с собой! — разглядывали Мишку солдаты. — Не скучно было бы.

— А нам и так не скучно. Рвани, парень, еще какую!

— Ты перво-наперво спросил бы, ел ли он чего!

Кто-то сунул Мишке банку с консервированными рыбками и хлеба четверть буханки. Кто-то протянул стакан с водкой.

— Не много ли? А впрочем, рвани, чего уж там!

Мишка отпил с полстакана и налег на закуску. Водка вскоре закружила голову. Он с новой болью вспомнил все тревоги последних дней, и закуска застряла в горле. «А про маму и не успел Наде...» — подумал Мишка.

— Ну, чего, — придвинулся к нему усатый знакомец. — А?

— Не лезь ты человеку в душу, — сказал сержант со множеством орденов на гимнастерке. — Стало быть, есть причина. Видел, она тоже вся исходила слезьми.

И тогда Мишка рассказал о своей поездке, о телеграмме.

Солдаты молчали. Сержант скрутил козью ножку и грубо выругался:

— Растудыт-твою в войну... Скоко ж она, проклятушная, бед на наши головы свалила!

Тронул Мишку за плечо.

— Не горюй, сынок. Лишь бы с матушкой обошлось! А прочее... Ты видишь? — он замахал обрубком правой руки. — Видишь, нету пальцев? А я тоже, браток, наяривал на баяне. Не веришь?

Сержант взял баян, вскинул ремень за плечо, культяпкой обнял корпус, а левую просунул под ремешком к басам. И заиграл «страдание» на одних басах.

— Смекаешь?.. «Дед с печки упал да в лоханку попал. А в лоханке вода — намочилась борода!..»

Вагон грохнул от смеха. А сержант застрадал снова: «Ваньке брюки шили-шили, хороши да хороши. А девочки ходят следом: покажи да покажи!..»

— Во дает!

— Моли бога, парень, что живой остался! Да еще с руками — с ногами. На-ка, играй, брат! — сержант протянул Мишке баян.

— Давай еще нашенскую, солдатскую! — зашумели наперебой.

Мишка нагнулся над клавиатурой и играл всю дорогу. Играл. Пел. Солдаты слушали. Подпевали. Переговаривались. То шепотом. То по-пьяному — выкриками.

— Да, конечно, надо бы... в это самое училище...

— Не зуди ты! Парню и без того...

— Че там! Девки и так все его будут!

— Га-га-га!..

— Да хватит вам!

«Не сбы-лось. Не сбы-лось. Не сбы-лось», — выстукивали колеса вагона.

Как насмешка судьбы — теперь Михаил Сергеевич живет метраж в ста пятидесяти от музыкальной школы. Ему уже полвека, пальцы его неповоротливы; все реже садится за пианино, все реже — вот так случайно, как в эту новогоднюю ночь — берет в руки гитару или баян; в будничных заботах некогда даже подумать о музыке. Но изредка, придя с работы, он ставит на проигрыватель любимые пластинки, укладывается на диван, гасит свет и во тьме слушает Бетховена, Скрябина, Чайковского, Вагнера...

К нему заглядывают домашние и, слава богу, в темноте не видят его слез.

По пути на работу или с работы, идя в магазин за продуктами, просто гуляя, он норовит пройти мимо школы, заглянуть в окна, со

светлой завистью любясь мальчишками в синих форменных куртках со скрипками в руках, девчонками в белых передничках, склонившимися над клавиатурой фортепьяно. Часто он заходит в школу, видит, как в вестибюле спуют дети в перерывах между уроками.

Одна отрада у Михаила Сергеевича — сын его среди этих ребятшек; и здесь, в школе, и дома поет сыновняя скрипка...

«Если б я родился в Москве... Или просто позже родился. Сегодня музыкальная школа есть и в родной деревне...» — думает он иногда, глядя на ребят.

Когда у него не ладится в буднях, он думает: это потому, что всю жизнь он делает не свое дело; будь он музыкантом, у него все-все было бы иначе. И на работе. И в семье. И в сердце.

Но нет. Иначе уже никогда не будет. До конца дней.

До конца дней будет болеть сердце по несбывшемуся, будет он вспоминать все-все, чем были наполнены его детство и отрочество, все-все, что вспоминает всегда, слушая любимую музыку, садясь за фортепьяно...

Надежда стояла над притихшими людьми.

Все сидели и слушали ее. Каждый уходил в свои мысли, в свои переживания, но в то же время тянулся к ней, к тому, что она несла пением. Надежда это понимала, и это не могло не радовать ее.

Надежда всегда волновалась, когда приходилось петь, особенно среди незнакомых людей, даже в узком кругу. Но сейчас ее волновало еще и то, чего она не ожидала сегодня, но что ждала долгие годы. Волею случая рядом с ней оказался человек, который был не просто слушателем, а жил ее пением, жил каждым оттенком ее голоса; рядом с ней оказался человек, который был первой ее любовью, благодаря которому она когда-то почувствовала в себе и мать, и друга, и женщину, и актрису.

Михаил Сергеевич давно не аккомпанировал никому, он думал, что уже и не сумеет сделать это, тем более для профессиональной певицы. Но, узнав ее, он поборол в себе скованность и смущение — и — после первого же романса! — видел радость на ее лице, на лицах окружающих, радость за их — Надежды и Михаила Сергеевича — взаимопонимание, за их слитность в исполнении романсов. Может быть, это только казалось ему, но все равно он был рад.

Одно лицо среди всех выделял Михаил Сергеевич. Это лицо ее мужа. Михаил Сергеевич читал на нем и любовь, и ревность, и гордость за его Надежду, которую вот сейчас все слушают, все в нее — муж не сомневался в этом! — влюблены, но она его, он ближе всех к ней. Муж поглядывал на жену (а она, как обычно во время пения, похорошела и выглядела моложе своих сорока восьми лет), переводил взгляды на всех мужчин и женщин по очереди, и ему — он

тоже это знал — еще предстояло выслушать похвалы ее пению, и он будет принимать это как должное.

Это всегда не нравилось Надежде, но сегодня просто раздражало ее. С ней рядом сидел человек, который больше мужа имел право на эти чувства. Она знала его таким, и многие годы таким он оставался в ее памяти и таким предстал перед ней два часа назад. Нет, он сейчас перед ней поднялся еще выше, чем во всегдашних ее воспоминаниях.

Надежда не хотела бы для мужа никаких испытаний. Но она не была уверена, что муж безоглядно пошел бы на бандитский нож, как это сделал когда-то сидящий рядом человек.

Михаила Сергеевича она узнала не сразу. Он ведь так изменился за... за сколько же? За тридцать с лишним лет. Она помнила его юношей. А перед ней — седой мужчина. Юношу напомнили ей его глаза, открытые, искренние, все обнажающие. А когда он взял гитару и опустил руки, Надежда увидела чуть заметный шрам выше кисти — как след погасшей звездочки.

Перед ней был он. Тот, спасший ее от бандита; тот, который спал у них на террасе, а она сидела и рассматривала его, трогала пальцем смешной его вихор; тот, назвавший ее однажды — единственный раз! — Надеждинкой; тот, благодаря которому она стала певицей; тот, кого она так ждала в музыкальном училище — они вместе пришли к нему в далекое августовское утро, может быть, он и п о с л а н был лишь затем, чтобы спасти ее и привести в училище; тот, который всю жизнь казался ей навеки потерянным, и, может быть, потому самым дорогим.

— Давайте прервемся на чуть-чуть,— предложила она.

И все тотчас согласились.

Надежда нетерпеливо выждала время, пока подходили к ней, говорили комплименты. В паузах поглядывала на Михаила Сергеевича. Он сидел задумчиво и перебирал тихо струны, не разрушая уют. Теперь, когда она совсем узнала его, она узнавала его во всем — в движении рук, в повороте головы, в распахнутых глазах.

Потом взяла со столика полную стопку и окликнула Михаила Сергеевича.

— Я хочу выпить за вас, Миша,— она протянула руку к нему.— Я вам так благодарна!

— И я вас от души благодарю,— встал Михаил Сергеевич навстречу.

Они выпили.

Гости стали выходить из комнаты. Мужчины закуривали.

— Покажите мне ваш дом,— сказала Надежда Михаилу Сергеевичу и взяла его под руку.

Они отделились ото всех и пошли по коридору. Вошли в оранжевую. Цветы — Михаил Сергеевич не знал их названий — касались их плеч. Она протягивала руку и ласково трогала листья.

«Странная штука жизнь,— банально думал Михаил Сергеевич, идя рядом с Надеждой.— Надо ж было устроить такую встречу».

— О чем вы думаете? — спросила Надежда.

— Женская интуиция!.. — сказал Михаил Сергеевич и покраснел.— О вас... о нас...

— Значит, узнали? И до седин не разучились краснеть? — Она крепко прижала к себе его локоть.— И я... как только шрам... на руке у вас.

— Да... зарубка осталась... — отозвался Михаил Сергеевич.

Они поднимались по лестнице на второй этаж. Михаил Сергеевич повернулся к Надежде и вновь увидел родинку ее. И вновь в ушах его зазвучал далекий горячий шепот: «Не целуй ее. Ты меня оглушаешь».

— Так странно называть вас на «вы», — сказала она.

Голос дрогнул. Глаза заблестели. Она, задерживая шаг, мизинцем снимала с переносицы потекшую краску.

Вошли в кинозал. Он был пуст. Прошли на сцену.

Михаил Сергеевич сел за рояль.

— Помните, прощание у эшелона? — спросила Надежда, пододвинула стул и села рядом.— А что было потом?

— Потом? — Михаил Сергеевич тихо перебирал клавиши.— Потом я окончил педучилище. Причем с отличием... — он иронически улыбнулся при этих словах.— Не был принят в Московский университет.

— Почему?

— Посылая документы, я не приложил справку, что как отличник отпущен на учебу.

— А разве ее нельзя было позже затребовать? Или сразу? Вот бюрократы несчастные!

— Хотел выехать в Москву. Не смог. Три дня сидел на вокзале и не смог. Вызова же у меня не было. С горя поехал в Ростов. В университете предложили физмат. Не остался. Вернулся домой и пошел в наш учительский. Это уже было числа пятнадцатого сентября сорок восьмого. Взяли на филфак: отличник! Жилось трудно. Не хватало нам маминой пенсии и моей стипендии. Пришлось уйти на заочное. А тут подвернулся мне мой любимый директор педучилища, пригласил работать преподавателем пения и музыки. В родном педучилище. Я тогда прилично играл на скрипке. Прилично, конечно, в рамках программы училища... Закончил заочно учительский, затем пединститут. Видите, все довольно обычно. После института работаю в школе, в Подмоскowie. Преподаю язык и литературу.

— Ну, а почему же вы не вернулись в музучилище?

— Не мог... — тяжело вздохнул Михаил Сергеевич.— Не мог оставить мать одну... Вы вспомнили наше прощание... Тогда, у эшелона, я не успел сказать про телеграмму в училище... Мама копала картошку. Наткнулась на немецкую мину. В огороде. Там были

гаражи немцев. При отступлении они заминировали. Пришлось ампутировать ногу. Долго не слышала из-за контузии. Не мог я оставить ее. И теперь она со мной...

Помолчали.

— Господи, целая эпопея,— вздохнула Надежда.— Ну, а в личном плане?

— В личном?.. Был женат. Разошелся. Сынишка остался со мной. Учился в пятом классе. Вот мы с ним на зимних каникулах... Сейчас уже,— Михаил Сергеевич взглянул на часы,— да, спит, наверное.

— Он тут? — спросила Надежда.

— Да, в комнате рядом с той, где мы были.

— А почему разошлись?

Михаил Сергеевич грустно улыбнулся.

— Не будем в такой час об этом.

— Да-да, извините. Но подождите... Послушайте, а что было бы, если бы мы п о т о м встретились все же?.. Отец взял мою сторону. Через какое-то время порвал с мачехой. Я поступила в музыкальное. И ждала вас. Знаете, как ждала!.. Потом уехала в Свердловск, в консерваторию. Потом работала в Сибири, в филармониях. Долго не выходила замуж. Жила с шальной мыслью — а вдруг встретимся!.. Думалось, у нас было бы все хорошо.

— Может быть,— сказал Михаил Сергеевич.

— Лет двенадцать как поженились с Андреем. У нас девочка. Чуть меньше вашего. Андрей,— она помедлила,— любит ее. Любит меня...

— Это я вижу,— сказал Михаил Сергеевич.— Он любит вас.

— А почему вы не написали?

— Я писал. Раза два. Но ответа не было.

— Я не получала. Видно, письма попадали мачехе...

В фойе послышался шум. В двери ввалилась вся компания.

— А-а-а, вот они где!

— Ребята, а они спелись!

— Наденька, что-нибудь под рояля!

Андрей, пошатываясь, подошел к сцене.

— Спой, Надюш,— сказал он.— Я так люблю...

Надежда поднялась, выпрямилась.

— Что же спеть?.. Все романсы-романсы... О, я спою песню,—

Надежда взглянула на Михаила Сергеевича.— Помните?

Она прислонилась к роялю, сложила руки на груди и потупилась. С первых же звуков Михаил Сергеевич узнал песню.

*«Ой, взлета-а-ала...*

*Ой, лета-а-ала горlinkа да рядом с я-а-асным соколом. Ой, да попал сокол в бурю че-о-орную да полома-а-ала буря кры-ы-ылья со-о-окольные...»*



Сидящие в зале не знали этой песни; слушали, не шелохнувшись. Надежда уже сошла со сцены, присела в стороне, устало откинувшись в кресле, — только тогда все как бы очнулись.

Михаил Сергеевич не слышал гула в зале. Он думал о том, что Надежда — та, далекая девушка, задумавшаяся над судьбой одинокой эвакуированной женщины — и не подозревала, что через много лет будет петь эту песню как песню о нем — о Михаиле Сергеевиче, о себе...

На сцену поднялась жена Эдика.

— Друзья!.. Ну, давайте еще что-нибудь! Ну, хотя бы... — и начала петь: — Я помню вальса звук прелестный!..

Михаил Сергеевич намеревался уйти, но все-таки остался. Он любил эту вещь. И он запел вместе с ней, неожиданно вкладывая свой смысл в слова, находя связь и с тем, что только что пела Надежда, и с тем, что заключалось в словах популярного романса.

*«Теперь зима. И те же ели одеты сумраком стоят, а за окном шумят метели, и звуки вальса не звучат... Где ж этот вальс — старинный, томный?.. Где ж этот дивный вальс?..»*

«...а за окном шумят метели...»

— Друзья, а правда, глядите, какая метель!  
Вьюга била по окнам космами снега.

В вестибюле Надежда сказала:

— Пойдемте, я взгляну на сына. Можно?

— Конечно.

Сын лежал на боку, выпростав из-под одеяла руку с завернувшимся рукавом байковой пижамы, и дышал неслышно.

Надежда долго смотрела на него. Наклонилась, поправила рукав и поцеловала голову.

— Как *они* трогательно спят, — шепнула она. — А он похож на *нее*... — И подумала: «А мог бы — на меня...»

Надежда отошла от кровати и оглядела комнату. На шкафу увидела скрипку. Повернулась к Михаилу Сергеевичу.

— А моя — пианистка... Пусть *они* будут счастливы! Я так боюсь за *них*...

Она грустно улыбнулась. Открывая дверь, оглянулась на спящего мальчика.

В коридоре Михаил Сергеевич приостановил ее.

— А вы... Вы счастливы?

Надежда не отвечала.

— Вы ведь счастливы... — сказал Михаил Сергеевич и постыдил добавить: — в главном. Я слушал вас...

Она перебила его:

— Родной вы мой, а что главное — кто скажет?

— Может, вы и правы,— отозвался он, помедлив.— И все же когда-нибудь... на концерт ваш...

— Лучше, чем сегодня, я уже для вас не спою.

Когда они вошли в оранжерею, Надежда остановилась и остановила Михаила Сергеевича. Потом взяла в обе руки лицо его и поцеловала.

— Простите, не провожайте меня, пожалуйста. Я разревусь при всех.

Отстранившись от него, Надежда пошла, наклоняясь вперед, как против ветра.

Михаил Сергеевич вернулся к себе. «А если бы я *тогда* нашел ее...» — думал он, растревоженный.

Долго в темноте ходил по комнате. Прислушивался к сонному дыханию сына. Поглядывал на зажженную во дворе елку. Она казалась гигантским опавшим листком, поставленным на черенок и обтянутым разноцветно светящейся гирляндой.

Лег спать утром.

Проснувшись среди дня первого января, Михаил Сергеевич вспомнил о случившемся с недоверием к своей памяти. Все, что произошло в ночь, было похоже на новогоднюю сказку или новогодний сон.

А может быть, всего этого и не было?

28 марта — 22 июня 1981 г.

**Михаил Петрович ШЕВЧЕНКО**

**ДОРОГА ЧЕРЕЗ РУИНЫ**

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор О. Н. Ласточкина

---

Сдано в набор 14.02.84. Подписано к печати 28.03.84. А 00348. Формат 70×108<sup>1/32</sup>.  
Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.  
Учетно-изд. л. 3,21. Тираж 95 000 экз. Изд. № 1145. Зак. № 2234. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда»  
имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



Цена 20 коп.

Индекс 70668

### **ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ!**

Книжные магазины РСФСР предоставляют Вам возможность не только купить книги, но и приобрести их по выигрышным билетам Всероссийской книжной лотереи.

Стоимость билета 25 копеек, сумма выигрыша (50 копеек, 1, 3 и 5 рублей) указана на внутренней стороне запечатанного билета.

По выигрышным билетам можно приобрести любую книгу или другие печатные издания по своему выбору из наличного ассортимента книжного магазина или киоска.

Если сумма выигрыша меньше стоимости выбранной Вами книги, можно произвести доплату наличными деньгами.

90% стоимости билетов направляется на выигрыши.

Прочитанные книги Вы можете предложить книжным магазинам для повторной продажи. Этим Вы окажете добрую услугу другим книголюбам.

**Росглавкнига  
Дирекция Всероссийской книжной  
лотереи**